18+

Дарья Гребенщикова

Бузина, или Сто рассказов про деревню



Дарья Гребенщикова

Бузина, или Сто рассказов про деревню

«Издательские решения»

Гребенщикова Д.

Бузина, или Сто рассказов про деревню / Д. Гребенщикова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-599501-8

В этой книге собраны рассказы про деревню — её жителей, быт, нравы, привычки. Рассказы и смешные, и грустные, все это — наблюдение за жизнью деревни самого автора. В сборник рассказов включены и зарисовки о природе. В книгу также вошли рассказы, написанные к картинам известного художника Леонида Баранова — «Пестряково, как живописный объект жизни».

ISBN 978-5-00-599501-8

© Гребенщикова Д.
© Издательские решения

Содержание

Бузина, или 6
Анна Никитична 6
Дед Мишка Ахромеев 7
Почта 9
Лена и Илья 11
Клюква 13
Геша Калюжный 14
Зима в Шешурино 15
Игорь и Наташа 16
Прощание 18
Пашка Голованов и Леньчик 20
Смотрины 22
Курочка Ряба 23
Баба Меля 25
Фролов 26
Август 28
Баба Люся и яблоки 29
Тимоня Ионин 30
Громов 31
Дед и Кутузов 33
Лиза 34
Нина Спиридонова 37
Дед Ефим Соломатин 39
Ольга Францевна 40
Герка Вертушкин, как Дед Мороз 42
Герка Вертушкин и наука химия 44
Герка Вертушкин на своих поминках 45
Ульяна 47
Дед Гришка и Чапай 49
Федятка Хроменков 50
Сергей Беклемишев 52
Баба Зоя 54
Борис Аркадьевич 56
Никита Паншин 58
Маечка 60
Утопленница 62
Дакота 64
Танкист и моряк 65
Баба Стеша 67
Измена 69
Баня 71
Конец ознакомительного фрагмента. 73

Бузина, или Сто рассказов про деревню

Дарья Гребенщикова

Посвящается Александру Викторовичу Ахапкину, без которого не было бы моих книг, с бесконечной благодарностью.

Иллюстратор Леонид Баранов

© Дарья Гребенщикова, 2023
© Леонид Баранов, иллюстрации, 2023

ISBN 978-5-0059-9501-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
##
#
#
#
#

Пряником печатным, ситцем набивным,
Глиняным горшочком, полным кашей,
Самоварным боком, изразцом печным —
Летним лугом, затканным ромашкой —

Коромыслом гнутым, лавкою резной,
Кочергой, бадьею да ухватом,
Ты вернись, деревня, да со мной постой —
Но меня ты городу не сватай,

Дай воды напиться мне из родника,
Да избы погладить вековые бревна,
Ведь живет Россия, пока ты – жива,
Только плачут травы, да цветет шиповник…

Дарья Гребенщикова
2021

Бузина, или Сто рассказов о деревне

Анна Никитична

Анна Никитична сидела, пригорюнясь, и глядела в окно. Стекло, засиженное осенними мухами, хранило следы мухобойки, и казалось, что по стеклу кто-то ходил в снегоступах. Вдали виднелся поворот, на котором весной опрокинулась груженая лесом машина, одинокий фонарный столб да синее пластиковое корыто телефонной будки. Бабка вздохнула – еще лет десять тому назад бежала по дороге в школу ребятня, брели бабы в сельпо, даже пьяненький сосед Петька всегда лежал – на одном и том же месте. Бывали и события – приезжала в село флюорография из района, и тогда у всех отключали свет, а народ шёл «просвечиваться», это был повод повидаться да поговорить о болезнях, детях и пенсии. Раз в год и милиция бывала, обходила дворы – это если когда у дачников что украли, а те, устроив разгон местному начальству, составляли списки потерь. События сошли на нет, как прикрыли больницу, но еще водили последнюю корову на дальний луг, и все бабки выставляли вдоль дороги вёдра, кто с чем – покормить Дочу, порадоваться на ее полное вымя, да вдохнуть запах навоза и молока. Как не стало коровы, деревня погрустнела, и только разноцветные куры копошатся теперь в палисадниках. Анна Никитична надела купленные внучкой на рынке очки, в которых газетный текст расплывался, но хорошо было видно, что показывают по телевизору, и щелкнула кнопкой на пульте. Внучка с дочкой долго учили бабку, и, хотя та упиралась, а выучиться пришлось – какая жизнь без телевизора? Цвета были яркие, лица красивые, сюжеты про любовь. Бабка поставила на газ чайник, разгладила шершавыми ладонями клеёнку в фиолетовых с золотом розах, сняла капроновую крышечку с банки, и по избе поплыл земляничный дух. Чашка с блюдцем, пакетик чая на ниточке, плачущее масло из холодильника и полбатона розовой, мокрой на вид колбасы – вот и полдник у бабы. Согнав со стола кошку, Анна Никитична пьет чай и смотрит телевизор. Мечтами она далеко, в городе Ленинграде, названным зачем-то поновому, в два слова, какие никак не упомнить. В Ленинграде дочка в красивом пальто ходит по улице, ведет за руку внучку, а вокруг магазины, где полно шоколадных конфет, столовые, где сидят красивые люди и едят необыкновенную еду, и даже поликлиники, в которых тоже сидят красивые люди в очередь в кабинеты с учеными врачами. На большее у бабки фантазии не хватало, но городская жизнь представлялась ей чем-то вроде праздника на День села, когда все нарядные, и поют песни под гармошку, а приехавшие из района торгуют пирожками и вином. Порадовавшись за то, что так удачно сладилась жизнь, бабка надевает яркую куртку с меховой опушкой по вороту, заматывает голову вязаным платком и идет в курятник, собрать яйца и выговорить петуху за то, что тот орет ни свет ни заря, и будит бабку, которой теперь, при новой-то жизни, можно спать без забот – хоть до полудня…

Дед Мишка Ахромеев

Когда убрана картошка, и тина от неё превратилась в горькую костровую золу, когда береза почти сбросила листву на дорогу, а боярышник облетел, выставив напоказ колючие шипы, и небо серо, и ветер гонит тучи одну за другой, дед Мишка Ахромеев вытаскивает из чулана плетушку с брезентовым ремнем вместо ручки, убирает за пазуху перочинный ножичек, натягивает ватничек и плащ-накидку поверх, свищет Валдайку и выходит из избы. Он идет через вырубку, через старое подсохшее болото вбок, в Чертов, не к ночи будь помянут, угол. В углу этом гриб есть всегда, даже если в Ямищах и Козлово пусто, а на верном месте в Покровском – только моченики, да горянки. Мишка идет поначалу споро, не задерживая шаг на разную лесную прелесть, потому как знает – короток осенний денек, а дождичком сбрызнет, намокнешь, ревматизм заноет, свернет в дугу. Валдайка – молодая лайка, умная, длинноногая, серой масти, в белых очках и в белых гетрах на задних лапках. Легкая, сторожкая – чудо, а не собака. Бежит впереди, нос в тропу уткнула, через шаг обернется – успевает дед, нет? Дед идет, мурлычет песню про приамурских партизан, или еще что военное, но к ходьбе удачное. Валдайка чует по бокам запахи зверя, но знает – не время. Сегодня хозяин ищет противные, вонючие для собачьего носа грибы, в которых интереса для порядочной собаки нет. Как заканчивается ельник, появляются березки, полукругом, будто кто сажал – нарочно. Дед перепрыгивает через чистый ручеек, текущий из леса вниз, к озеру, садится на поваленную ветром ёлку, с которой давно отслоилась широкими кусками коричневая, темная с испода, кора, закуривает. Валдайка ложится рядом, принимая чутким носом приветствие леса, читает, что-то, понятное ей одной. Под землей шебуршатся полевки, собака наклоняет голову – эх, плевое дело поймать, да закусить живинкой, но нет. Нельзя. Мишка встает, стряхивает с бороды табачную крошку, кланяется вдруг чуть не в землю – ну, здорово, лесной, не обессудь, порою в твоих кладовых, – и идет дальше, ладонью стволы оглаживает, здоровается. Конечно, думает про себя Валдайка, при таком обращении чего хочешь, сыщешь. А так и есть. Вон, дед палкой из орешины поднял нижние лапы молодой елочки – а там боровичок. А где один, там и семейка. Дед срезает аккуратно, слизня сковырнет – пасись дальше. Если уж белкой или мышью гриб тронут нещадно – на сучок наколет – доедай. Крупные грибы-переростки, у которых шляпка до земли, не трогает, гриб-дедушка, зови сынка, зови внучка… Ельничек молодой, еще светлый, вдали березки-невестушки, и малинник сбоку. Валдайка по августу всегда с дедом – на малину. С её роста ягоду достанешь, сладко. Сейчас собаке скучно, но она перемахивает через поваленные стволы, и слышит, как летит, волнуясь, потревоженная птица. Валдайка не выдерживает, подтявкивает, смотрит на деда вопросительно – да ну их, грибы! Пойдем на охоту! Дед качает головой – ишь, ныра… еще в журавник пойдем, а как? И гриб надо. Как без гриба? Сушить будем, супцу наварим, гриб он для человека однова что для тебя – мясо. Так что, иди, соблазну не наводи на меня. Порыжел папоротник близ ручья, нет никакого цветка, даже плохонького, но еще не облетел лист у смородины, одичавшей, затянувшей фундамент брошенного дома. Дед вспоминает, что были тут хутора, и жили на них, и хозяйство вели, староверы, строгие, молчальники, особо себя держали – не мешались с нашими. Тогда и грибов было! Дед опять садится, но не на пенек – в пеньке змея может жить. Сядешь, обидишь, она и ужалит тебя – в сиденье-то. Садится на ствол, примащивается, достает из рюкзачка хлебушек, завернутый в тряпицу, яички вареные, и роскошь – круг ливерной. Валдайка аж жмурится от счастья. Дед идет к ручейку, набирает воду в алюминиевую кружку, и они «чаевничают», и собаке достается колбаса, тонко размазанная по чернушке. Дед перебирает грибы, ворчит, подрезает ножки, отбрасывает мятые обабки, и советуется с Валдайкой насчет мочеников – будем брать, али как? Тут вдруг чохнет желудем, они поднимут глаза к небу и увидят яркую сойку, сидящую на березе. Глядишь, и небо растянет, и полоснет солнечным лучом,

зажигая бурую листву и рябиновые грозди, и станет весело на душе, и вдруг окажется перед самым носом дружная семейка рыжих лисичек…

А уж потом, в избе, дед, нацепив очки, будет низать грибы на суровье, завязывая на конце каждой нитки спичку – вроде как жердочку, а Валдайка, заморенная, в репьях, будет греть у печи серый бок и перебирать во сне лапами – перепрыгивать через бурелом. И подняв во сне рябчика, тявкнет, проснется смущенно и побредет к миске – лакать воду.

x x x

Октябрем вдруг тихо и беспомощно облетела листва, державшаяся всю осень, и выстлала дорогу таким фантастическим смешением красок, стилей, размеров и форм – что нога не поднималась пройти и ворохнуть листья… Привыкшая к листопаду ребятня выуживала опавшие кленовые листья неправдоподобного цвета – лимон с набрызгом из яркой малины, собирала в букеты, не веря, что завтра листья сморщатся и утратят своё великолепие. Девчушки собирали листочки осины, иззубренные, в цвет румяного персикового бока, оставляя лежать дубовые, скучные, кожистые. Рассыпался в руках лежалый рябиновый, волглый от дождей лист, а берёзовый, опавший прежде всех сентябрём, ссыхался в охряную труху.

Вечером задул юго-западный ветер, погнал перед собой влажную стылую стену, осыпался дождём, закрутил посеревшую озерную воду, да и прошел мимо. А утром вдарил мороз, да такой силы, что схватил водяной плащ, заморозил его, и впечатал все разноцветье листвы под лёд. Невиданной тканью, сотканной из павших ярких листьев, накрыло дорогу. Солнце победно вспыхнуло, добавило морозному воздуху пронизывающей яркости, и мы завороженно, не смея ступить на ледяной ковер, просто стояли и вбирали в себя прощальную роскошь этого последнего парада. А потом посыпали дорогу песком, разъездили шинами, протоптали сапогами да полозьями, и остались лоскутья ковра по обочинам, где листья так и вмёрзли – на всю зиму.

Почта

Важнее почты в деревне только магазин с хлебом и медпункт. А и то – почта главнее. Потому как на почте – пенсия, а народ в деревне в пожилых годах. Здание почтовое еще барин строил, под школу. Потому добротно, просторно и печки греют. Порядок – исключительный. Есть отдельный кабинет «Сберегательная касса», есть комната «Прием посылок», и есть даже, где на газеты подписываться. В центральном зале, за прилавком, обитым синим линолеумом и крашеным рыжей краской, сидят почтово-телеграфные работники. Илья Семенович Яблочкин, заведующий почтой, грузный, похожий на бульдога, мужчина. Он носит тюбетейку, скрывающую лысину и сатиновые нарукавники, скрывающие дырявые локти рубашки. Яблочкин знает цену себе и посетителю, потому томит его в очереди до состояния покорности. Он считает, медленно откидывая костяшки на счётах, пишет еще медленнее, заполняет бланки, формуляры, величественно достает книгу, в кармашки который вложены марки и выбирает их, слюня пальцы. Конверты он любит с картинками, и чтобы – к дате. Посылки принимает только зашитые в белую материю, поверх которой разборчиво должно быть вписано – кому, куда и от кого. Отправитель путается, бегает переписывать бланк, ошибается в сотый раз, вписав сумму цифрами, а вся очередь шипит, и зло покрикивает – знает, что такая же судьба ожидает каждого томящегося. Конечным пунктом идет опечатывание отправления, для чего на маленькой электроплитке булькает кастрюля с сургучом. Вздыхая, будто соблюдая государственную тайну, встает Яблочкин и вынимает из сейфа специальную печать на деревянной ручке. Налив сургуча на переплетение веревок, он аккуратно притискивает печать и любуется соделанным.

За отдельным прилавком сидит Нинка-телефонистка, жующая в мембрану телефонной трубки – «город, город, девочки, ответьте Шешурино… город, город…". Линия всегда занята. На деревянных скамьях сидят тетки с детьми, командировочные, шабашники, приехавшие ставить коровник и прочий мелкий люд. Неожиданно Нинка кричит – «Хабаровск? Вторая кабина! Бежите, кому Хабаровск? Пятнадцать минут!» тут же срывается мужичок, теряя на бегу, портфель и кричит на всю почту – «Маша, Маша, я задерживаюсь на двое суток! Маша! У нас ревизия!» – а все, кто есть на почте, ухмыляются – знают, что дядька из Хабаровска сошелся с продавщицей Валькой и мается с нею в печной жаре, на лежанке, да в избе, на мягких перинах.

Почтальонами заведует заместитель заведующего, дородная, синехалатная, с ленцою, Валентина. Она рвет карандашом квитанцию на подписку, вычеркивая все, кроме районной газеты, – Ната-а-ш, – нараспев говорит она, – ты ж знашь – лимит на всё! Хошь на «Сельскую жизнь» с января? Ну… как знашь… не, на «Крестьянку» нету. На «Работницу» нету. На «Пионера» нету. Какие тебе моды? В библиотеку сходи, – жалеет она учительницу Наташу. Сама же Валентина дефицитные журналы выписывает подругам и нужным людям. Пользуется служебным положением, значит.

За круглым столиком, обитым линолеумом под мрамор, сидит баба, пришедшая из дальней деревни. Под галошами ее натекли лужи, бабе жарко от печки, пожирающей оберточную бумагу и испорченные бланки. Баба скидывает на плечи серый козий платок, развязывает белый, хлопковый, в голубую крапину, утирает им лоб. Шарит в клеенчатой сумке, тихо ругая себя старой дурой и курицей, очочки, и, держа их, как лупу, начинает корябать текст телеграммы, запинаясь пером по бумаге, ставя звездчатые кляксы и тихо мучаясь от слабости глаз и ума. Кликнув пацаненка, прыгающего рядом с мамкой, получающей перевод из города, просит его помочь, и малец резво строчит кривыми крупными буквами – «преезжай доча бабы плохо и помру не преедишь». Облегченно вздохнув, баба тяжко поднимается и встает в хвост очереди.

Над отделением «Сберкассы», расположенной тут же, в угловом кабинете, висит плакат с розовым молодым человеком, покупающим облигации госзайма. Молодой человек белозубо улыбается, показывая чистой розовой ладонью на дом, машину и красавицу жену в импортной шубе. Баба глядит в кошелечек, зашитый сбоку черной толстой ниткой, и горестно вздыхает.

Все стены увешаны плотно, как рыбьей чешуей, постановлениями, приказами, образцами заполнения бланков и прочей бюрократической дребеденью, которую никто не читает.

Дело ползет к обеду, и Яблочкин уже нашаривает табличку, на которой обозначено четко – «ОБЕД», но тут вваливаются рабочие из лесхоза, получившие зарплату, и занимают собой все помещение почты – сейчас будут отправлять домой переводы. Яблочкин, как капитан корабля, приставив ладонь ко лбу козырьком, следит – не сопрут ли чернильницу? Карандаши? Не подрисуют ли усы на портрете Ленина, не напишут ли слово из трех букв? От лесхозовцев пахнет соляркой, смолой и дешевым табаком, они облепили все столики и бригадир, прикусив губу, выводит адреса на бланках. Тут с грохотом открывается дверь, да так, что чуть не слетает пружина, и как вихрь, влетает маленькая, хромающая на левую ногу, Надька Колоскова, баба вредная, скандалистка и пьяница. Пальтишко на ней распахнуто, платок развязался, Надька настроена серьёзно и со всей силы лупит клеёнчатой сумкой бригадира, отчего тот сажает кляксу на бланк и успевает дать в глаз Надьке свободной рукой. Пока Яблочкин свистит в свисток, припасенный для подобных нередких случаев, дерущихся растаскивают по углам. Бригадир, задолжавший Надьке за съемный угол, краснея, отсчитывает рубли и присыпает их горкой мелочи, – на, подавись! Тут остается ровно пять минут до обеда, и Яблочкин, выходя из-за прилавка, натягивает на себя овчинный полушубок и бекешу, и громким командным голосом орет – ОБЕД! И все покорно освобождают почту, и целый час, пока индевеет на почтовых дверях амбарный замок, жмутся, топочут ногами на холоде, покуривают и ругают Надьку, из-за которой теперь – вон, целый час морозиться.

Лена и Илья

– Зачем тебе этот тракторист? Зачем? – это орёт мать. Лена захлопывает окно.

– Мам, ну на всю деревню не ори?

– Это Я ору? – началось. До отъезда из деревни один день. Сумасшедший день. Ленин отпуск скукожился и исчез. Никакой Италии – карантин. Даже в Эмиратах, и то – карантин. А здесь, в Васильково, ничего нет. Поле, три коровы на горизонте и четыре бабки. Даже детей нет. Пустыня. Ленка с трудом вспоминает бабушку Пелагею, грузную, улыбчивую, с мягкими руками и фартуком, испачканным мукой. Теперь бабушки нет, есть нервная, вечно взвинченная мать.

– Я запрещаю тебе! Ты слышишь! Это мезальянс! – это все относится к Илье, который живет в соседней деревне. У разведенной Ленки с ним случился роман этим летом, и теперь мать выносит ей мозг. – Ты! У тебя образование! Ты с кем связалась? Боже мой! Да твой прадед!

– Пришел в лаптях в Нижний. – Лена обертывает газетами бесконечный ряд банок. Банки они привезут в Москву, и будут поднимать на пятый этаж без лифта. Потом банки будут стоять в кладовке. Одна половина вздуется, а другую будут совать в сумки родственникам. – А что бы изменилось, мама, если бы он в сапогах пришел, а?

– Елена! Он пришел в лаптях, а ушел! Важно – в чем ушел! Пароходство, четыре доходных дома, сукноваляльная фабрика, рыбная торговля в Москве! Он гимназию построил на свои деньги!

– Мам, не убивайся, революция пришла и все отобрали. Вот, надо было стараться?

– Лена, это пораженческие настроения. Это всё твой тракторист. Эти пролетарии до добра не доведут! – Лена в это время вешает ватные тяжелые матрасы на жерди, проложенные между стульями. Она думает о том, как они вчера прощались с Ильей. Лена пришла на лесосеку, где размечали стволы под рубку, и Илья махал на неё руками – «уйди», а глазами – звал. Тянул к себе, как магнитом. И Лена пошла, спотыкаясь, потому что не видела дороги. Тут вдруг ухнула вблизи огромная ель, и Лене царапнуло щеку иголками. А Илья взял её на руки, и вынес. Как с пожара. На руках. Разве бывший ее, Гарик – мог? Он бы и не заметил, если бы Ленку накрыло. А Илья вынес. И потом они все прощались, и хвоя колола спину, но так – нетребовательно, а нежно. А Лена всё плакала, а Илья вытирал ей слёзы. Ладонью. И Лена вся была полосатая, как тигр.

– Елена, проснись! – мама тащит мешок картошки. Все правильно. Дочь идиотка, влюблена, а старая мать сейчас надорвется и умрет у мешка картошки. Борьба за жизнь. Ван Гог. «Едоки картофеля». Как матери объяснить, что на Nissan Pathfinder нельзя картошку в Москву возить. Это пошло. И мешки с кислыми яблоками тоже. Райские яблочки. Райские – это гранат. То, что у них растет, это дичка, лещуга, как говорила бабушка. Лена начинает укладывать в машину коробки с кастрюлями – неужели нужно возить их – из деревни, в Москву? Кому нужны эти чугунные сковородки, на которых на палец жира? Бесполезно. Пододеяльники штопаем, на ночные рубашки кружавчики – где протерлось. Как же – прадед в лаптях пришел, надо соответствовать. Лена хочет одного – бросить весь хлам и уйти к Илье. В новую жизнь. Чтобы изба была новая. Сруб. Красиво как – углы «в лапу». Или «в чашу». Чтобы деревом пахло. И медовые стружки на полу. А Илья пусть улыбается, и рубашка у него будет потная между лопаток. И крестик нательный, на шнурке. И старый диван с валиками. И никакого телевизора, даже книг не нужно. И она будет ходить за Ильей, босая и счастливая. И в бане мыться, а не в ванне с хлоркой.

– Ты меня слышишь? – мама держит двумя пальцами мышеловку. В ней мышь. За сыром полезла – и все. Гибельная страсть. А ела бы картошку, жива была бы. На картошку мышеловок

не хватит. Лена вздыхает и идет – бросить мышеловку в костер, в котором горят старые тряпки и газеты, ботва помидорная, и всякая гадость. Дым едкий. От берёзы не такой. Лена смотрит сквозь дым и видит Илью, который стоит на дороге. Тарахтит трактор, а Илья стоит – и смотрит. А трактор – как конь. Сейчас похитит её и увезет. Лена стоит и плачет, и дым ест глаза. Сейчас мать закричит, а Илья услышит, и будет неловко. Лена кивает головой, прощаясь, и уходит – вот так, сквозь дым – в Москву.

Клюква

Пасмурный денёк… висят тучи – как пасмо, на ветвях, запутались в верхушках ёлок, низко сели на озеро. Тихо постанывает выпь, тянет шею. Её и не видать в прибрежной тросте – сероватую, порыжелую у спинки. Затарахтела моторка, разрезая носом перламутровую воду, разошлись углом волны, вспугнули выпь – и полетела она над ивняком, забирая все выше и выше… На вырубке, ставшей болотцем, обирают бруснику бабы. В этом году дождей было – что твой потоп, потому ягода уродилась сочная, терпкая, с хорошую вишню.

Баба Лиза стоит на кортках, принесла с собой в наплечном мешке коврик из дому, перетаскивает его – от кочки к кочке, обирает быстро. Пальцы ловкие, хоть и крученые артритом, а как-то выходит, что у Лизы полнее всех ведро.

Баба Наташа приспособила наколенники из брошенных шин – вовнутрь подушечки набила, и ползет – что твой танк. Но видит хуже, очки к носу не привяжешь, часто пустое тянет – веточки, листики. Баба охает, скрипит, гундосит – её берут-то с жалости, а так она вреднючая, хуже чумы какой.

Третья – бабка, но московская, по-нашему – девка еще. Та худа, сухонькая, дымит чище мужика, да не обирает, а так – баловство одно. Всё ахает – ох! Осинка! Ах! Рябинка!

– Ты собирай, деука! – прыснет щас, замокнем! – баба Лиза уже у кромки болотца.

– Ах, Елизавета Григорьевна! Как вы, живя тут, в таких благословенных местах, вдыхая ароматы осени, эту тишайшую музыку движения воды…

– О, понесла, – баба Наташа подползла к бабе Лизе, – от, дура т ученая… что лопочет, кому т надо ть? Тута, вона, жрать в зиму неча, а она – фррр!

– Да будет те, – баба Лиза пытается подняться, – она ж нас на машине возит, бянзину не жалет, пущай гомонит, чаще ягоду мимо рта пронесет!

Бабки прыскают, сморкаются, вытирая пальцы о серый мох, и ползут дальше. Накрапывает дождь, дачница садится на поваленный сосновый ствол, курит, и качает в воздухе ногами, обутыми в алые сапоги, купленными в АШАНе по акции. Сапоги скрипят, распространяя над болотом несусветную химическую вонь…

Геша Калюжный

В деревне коров давно сдали из-за надоевшего сенокоса, оттого, что гоняться стало со стадом некому, да и молоко продать – тоже – кому? Дачник пил охотно, но мало, в районе с торговлей поприжали, вот и осталась деревня пустой, без коровьего духа. Свинья – не замена, но тоже насчет мяса убедительно. Но вот – то чума, то еще, какая напасть, опять же навоз от неё. Козы – те создания дурные, гоняйся за той Машкой или Дашкой, а молока синего хоть и полезного – не боле двух-трех кило. Вот и остались птицы в виде куриц. Курица, она, чем хороша? Доить не надо, сено только на гнезда, и опять же – что ни день – отдача. В плане яиц. Утром зашел – пусто, вечером зашел – коробку набрал. Ну? Во! Дед Геша Калюжный кур не уважал. Тьфу, говорил, недоразумение. Дуры дурами, и квохчет, глаза закатывает, и вечно у них задницы какие-то грязные, и к побегу склонны… но яичню из восьми яиц приговаривал враз. А тут баба Гешкина, Клавдея, решилась детей навестить. Аж в Петербурге. Туда путь длиннее, чем на луну. Все хлопотала, чего родным деткам-внучкам в клювик положить, все баулы увязывала, дед на такое расточительство смотреть не мог и пошел в сердцах диван новый на двор мастерить. А баба бежит – дед! Пеструшка-то рассиделась! Ну и чего? – дед рубанок отложил. Надо было в решето её. Дык пропустили, она в закутке, чего уж оставши-то? Ты там глянь, старый, чтоб кошка не съела, отсади её, а? Была нужда, – Гешка прилаживал к дивану ножки, – еще буду воробьев всяких пасти, и сплюнул. Уехала автобусом баба, Гешка и заскучал. Полкана навязал, чтобы голос был громче в случае врагов, а с кошками – что? Им указ не писан, такие проныры. А Пеструшка сидит, гордая, как орден дали. Он ее со всех сторон огородил, водички поставил, пшеницы, крапивки порубил. И как-то приладился за ней глядеть, а Пеструшка, поначалу деда не принимавшая всерьез, увидала в нем защиту и прониклась. Тут дед уж дремлет под телевизор, а как его подкинет! Ночь-полночь! Вдруг ласка? Или хорь? Нет, тут надо серьезно – гляди, живая жизнь под ней! И дед, как был, в тренировочных подштанниках и в олимпийке, побежал в старый хлев – точно! Кто-то шмыг – в дыру, только солома шелохнулась. Вот, дед все хозяйство Пеструшкино в шайку уложил, и домой унес. Под печку. Кошек за шкирку приволок, носами ткнул – во! и кулак показал. Те поняли. А то… и вот – лежит дед на печи, а сам вниз глядит – как оно там? А сверху-то не разглядеть! Ну, он куру умастил прям на лежанке. Сам ноги подогнул, лежит, волнуется – уж пора давно. И ведь что? Дура – т дура, ан нет. Как-то тянется к деду, вроде квохчет в заботе будущего. Тот умилится иной раз, почешет ей под гребешком да под сережками. И проспал! Уже начали вылупляться, чокать снутри скорлупки-то! Попискивают, зубом молочным своим дырку в жизнь пробивают, вона – как! И пошли – первые, сырые, страшенные, нелепые – прям тьфу красоты никакой, сплошная жалость! А уж через пару часов! Пищат, качаются – ножки тосенькие, ах ты! Ну, дед все это уж пол спустил, им разбег, поди, нужен. Так и бегал всю неделю, натолчет им мятку – картошечки, яичко меленько порубит, крапивку свеженькую, творожку – те клюют, орут! Эх, дед вздыхает, я навроде как мать вам стал… до чего умильная сердцу картина! Главно дело, бабка приехала – аж мимо дивана нового села – дед по двору идет, за ним Пеструшка, а за Пеструшкой – все девять, как в цепочку. Я, баба говорит, думала, ты у меня петух, а ты, выходит, курица?! А дед молчит, папироской пыхтит, травку окашивает, на небушко поглядывает – не летает ли ястребок? И радуется равновесию жизни.

Зима в Шешурино

При советской власти зима в Шешурино приходила вовремя, как и положено. Тогда ж не забалуешь было… на Михайлу, к 21 ноября, уже и санник стоял, и лошадка наша до сельпо бежала, запряженная в розвальни. В санях, как и положено, на ворохе сена, да на списанном клубном занавесе, развалясь, ехал Мишка Воробей, заломив треух на затылок. На ногах красовались новые, дедом свалянные валенки; живая вчерашняя заплата сияла на милицейских штанах куском Надюхиной кофты. По походу Мишка подсаживал бабок, тянувшихся цепочкой в сельпо за хлебом. Бабки были одеты, как солдатки – ватник, валенки с галошами, да тёмная простая юбка. На головах платки, внизу – простой ситцевый, а поверх – шерстяной, серый, или коричневый, крест-накрест… Кто не поспевал, бежал за санями, умоляя принять мешочек. Мишка незлобиво понукал Дымку, Дымка выдыхала белые лёгкие облачка, прикусывала удила, ушками прядала. В магазине было тепло, накурено… Важная Клавдия алюминиевым совком ссыпала макароны, да пшено в подставленные мешки, отмечала «на долг» взятые бутылки вина и пачки курева, и царственно охраняла покой и порядок очереди. Серый да ржаной, кирпичами, хлеб – по числу едоков и по 1 буханке на корову, замерзал, пока доезжал до дому, а оттаивая, наполнял избу запахом печи и поля…

Привозили сельдь, тугую, серебристую, с ясными чайными глазками, плавающую в мутном рассоле, и Клавдия выхватывала томно истекающую рассолом и роняющую бисеринки черного перца рыбину и шмякала её на плотную серо-синюю бумагу, на которой огромным карандашом подписывала цену, исходя из только ей одной ведомой методы подсчета. Про колбасу не мечтали, конфеты были простецкие, карамельки, теряющие фантики, слипшиеся бочками да каменные таинственные «козьи наки», с которыми легко можно было и пять стаканов чаю выпить вприглядку и потерять последний зуб. Сок в трехлитровых баллонах брали только летом, ради банок, а спрашивали лимонад «Андреапольский» да перебродившее пиво, стрелявшее жестяными крышечками. Рядом с продуктами скучали ГДР-овские сервизы с немыслимыми цветами и фантастической ценой в три агрономовские зарплаты, отрезы дорогущего гипюра да цветастый крепдешин. Выходили на крыльцо, волочили полные мешки, похваляясь перед теми, кто еще стучал валенками в конце очереди, и, взгромоздившись на телегу, степенно ехали домой, окликая по пути встречных.

Игорь и Наташа

Когда брак незаметно заходит в тупик, а ты не замечаешь, что впереди стена брандмауэра, просто потому, что на ней замысловатые картинки-граффити, а ты рассматриваешь их и думаешь, что жизнь продолжается, а на самом деле жизнь встала, как будто кончилась – а куда идти? Назад? И где твой попутчик? Да был ли он? Или ты сама так и шла по рельсам, под дождем и под солнцем, и тащила и свой, и его вагончик – а сейчас – никого. Стена. Кирпичная. Наташа смотрела на мужа, приехавшего к ней в деревню Устье из Питера, и думала о том, что ему бы только выпить пива и дрыхнуть на раскладушке, а на Чудское ему плевать, а там такая красота, что дышать больно. Они стали жить модным сейчас гостевым браком, отмахав добрых двадцать лет без года, просто потому, что Наташе нужен был воздух, а воздух нужен был потому, что Наташа – акварелист, и вода, напоенная пигментом, стекая с кисти, должна непременно дышать. В Питере тоже дышалось, но на Чудском – душа выходила из тела и шла по воде, и все вокруг звучало, как любовь – когда слышишь только одного человека. Муж занимался грузовыми перевозками и не любил акварель. Он любил триллеры с кровью, тяжелое порно и прыжки с трамплина. Он приезжал на грязной машине и мыл ее на берегу, а Наташа ужасалась и не понимала, как это можно? Наташа ходила в шелковых шальварах, обматывала голову косынками разных цветов и курила длинные сигареты. Через год такой жизни их отношения улучшились, они перестали мешать друг другу и даже радовались встречам. Их сын обидно быстро вырос и уже был женат, так что скрепы оставались лишь на страничке паспорта. Ни мать, ни отец не занимали места в его молодой и энергичной жизни. В деревне Устье оказалось много общих знакомых, у знакомых были друзья, у друзей – свои круги общения, и вот уже пестрые компании из художников, рекламщиков, дизайнеров, чудаковатой интеллигенции старшего поколения и самоуверенной – нового, смешивались, собирались на террасах, на берегу, в лесу, ели, пили, редко пели, больше говорили, не слушая друг друга. Были и семейные пары, и не пары, и не семьи, и завязывались летние романы, и случались комедии и трагедии. Наташа не хотела романов, ей хотелось только парить над озером, а потом, сидя в мансарде, ощущать знакомую дрожь в пальцах – желание рисовать. К зиме деревня Устье пустела, оставались местные, да пенсионеры – публика скучная. По озеру мела поземка, в ближний лес приходили волки, и Наташа вынужденно нашла себе давно осевшего в деревне питерца, который мог расчистить дорожку от снега, подкачать колесо машины, починить… продуть… постучать молотком, и вот Игорь уже стал своим, просто другом, ничем больше, зачем же больше – когда после всего – всегда – стена? А муж приезжал то реже, то чаще, пил пиво с Игорем и даже привез ему из Питера генератор. Наташе в голову не приходило думать о треугольнике, хотя треугольник был давно – у мужа. А Игорь приходил, и приносил молоко, и учил Наташу, как делать варенец в печке, рассказывал ей смешные истории про козу Зойку, и грустные – про свою бывшую жену. И Наташа не замечала, как тяжелел взгляд Игоря, когда он смотрел на нее, и даже не стеснялась выйти в халате, который все время распахивался на груди, а Игорь отворачивался, и бросал одно – оденься. Они ходили в лес на лыжах, они даже ловили рыбу и у Наташи мерзли руки, а Игорь дышал на ее пальцы, и краснел. Он приходил уже каждый день, и Наташа никак не могла понять, почему он все пялится в огонь, а не смотрит на нее, хотя она говорит с ним? Ведь они только друзья, ничего больше? Летом начались хождения в гости, и они попадали в одни и те же компании, просто потому, что звали Наташу, и говорили – надо же и Игоря позвать? И только однажды, когда он опоздал, и подошел к ней поздороваться и тронул ее за плечо, она подняла голову и увидела его глаза. Ей стало страшно, потому что ее поезд опять пошел, а на плече, до которого он дотронулся, остался ожог. И с той вечеринки они ушли вместе, и, не дойдя до Наташиного дома, покатились по мокрой от росы траве, сжимая друг друга так, будто желая стать единым целым. Потом они сидели до рассвета

на огромном камне и смотрели на Чудское, подернутое туманной дымкой, и думали о – разном. Наташа думала, что Игорь теперь не даст ей рисовать, а времени на любовь уходит много, а Игорь думал о том, что они сейчас встанут – и пойдут по воде, а туман будет мягкий и нежный, как Наташины губы, и они услышат, как говорит озеро, потому что любовь – это тишина, деленная надвое.

x x x

Земля лежала без снега почти весь декабрь, печаля глаза высохшей травой, которую трепал ветер, да песчаными залысинами на дороге. Озеро встало рано, в первые же морозные ночи, да так и стояло темнеющей массой, застывшей бугристо и потому не отражавшей смутный серый свет, идущий с неба. Листва с деревьев не успела облететь, и будто спала, как свернувшиеся в кокон бурые бабочки. Не отпечатывался птичий след, не видно было и следка соседского пса Казбека, с характерным подчеркиванием от увечной лапы. Не катались с горок, не скребли лопатами дорожки – скучали. И только сегодня ночью, неожиданно сильно, будто озлясь на весь мир, пошел снег, косо, припадая к земле, кружа в низинах, наметая сугробы у брошенных изб, слепя глаза. И настала светлая ночь, посреди лишенного цвета дня, и белые удары – как кистью художника, вмиг преобразили деревню, скрыли всегдашнее уродство упавших заборов, не убранных бревен, брошенного за ненадобностью хлама открытых глазу помоек – и настала великая тишина, волшебство Рождественской ночи, и гордо закачались под тяжестью белых шуб ели, царственные, уходящие в потолок неба. Только следков все равно не прочесть – заметает тропки, идет великий снег…

Прощание

Сегодня утром казалось, что воздух, нагретый до тридцати градусов, застыл до плотной массы, буквально осязаемой, которую невозможно вдохнуть. Отпевали Гришу у дома, и гроб стоял на табуретках, крашенных им самим на прошлой неделе. Я старалась не сбиться, потому что из-за слёз не различала буквы в Требнике. Народ все подходил, становясь полукругом, на вдову старались не смотреть, и на того, кого жизнь покинула в это воскресенье – тоже. Такая нелепость, такая неожиданность, да я же вчера вот только… это говорят везде. В городах и в деревнях, на всех континентах, наверное. Отец Геннадий, совершая ставший в последний год едва ли не еженедельным обряд отпевания, был заметно печален, и потом, весь путь до сельского кладбища, который у нас принято идти пешком, наступая на брошенный под ноги еловый лапник, вздыхал сокрушенно. Такое было странное зрелище – ехала впереди машина, разбитый УАЗик, а сзади шел батюшка и мы, певчие. И пустая дорога. Пустая деревня. Хоронили Гришу на кладбище в Зеленом Бору, высокие сосны на берегу озера, песок. Красивое место, тихое – «злачное, покойное». Как помянули, кто водочкой, кто соком с конфетами, пошли бродить между могил – вот, смотри-ка, это ж баба Зинаида, точно! А где ж мамка ее? Ой, смотрите, вот же Мишка-то! Батька Тоськин! Его ж менты убили в Москве? Ну да… а это чья? А эта? Давно уж и кресты покосились, и стерлись надписи на военных пирамидках, но тут, на берегу озера, лежат те, кто был счастлив и не очень, кто работал, кто пил, кто рожал детей, те – кто просто жил – на этой земле. Нас все меньше, нас – горсть. А не полные пригоршни, как раньше…

А в Гришиной избе всех ждали на поминки, и стол был накрыт городской едой, только щучка была поймана самим Гришей в субботу. И весь дом еще, похоже, не осознал, что ушел хозяин, и вещи ждали его – и тапки с замятыми задниками, снятые им, стояли у кровати, и застыл топор, вогнанный в колоду… и любимая собака, гончак Выбегай, похожий на Гришу так, как если бы тот мог быть его отцом, смотрел на чужих, снующих по двору, пытаясь понять, почему нет хозяина и отчего так страшно пахнет смертью…

А в три часа дня разразилась страшная гроза, и дрова, уложенные Гришей, рассыпались. Земная жизнь его кончилась. Теперь будут делить дом и машину, приедут дети от первого брака, и все будет, как у всех. А пока вдова сидит и смотрит на пустое место, которое так и осталось незанятым у стола. Такая она, жизнь.

На сороковины заглянула я к Гришиной вдове, поговорить, поплакать. Люба мяла в пальцах хлебный мякиш, смотрела на фотокарточку и на стопку, на которой лежала черствая корка.

– Знаешь, вот, помер он, всю жизнь лаялись, всю жизнь жили, как кошка с собакой, а помер – жалко. А я новую теперь жизнь начну. Свою. Он-то не любил, когда я ходила в церковь. И вечно дом гостей полный, подай – принесу, уйди – уйду. Какая была радость, только что спину гнуть? Я теперь хозяйкой тут буду, горбатилась… заслужила…

Говорили мы с ней жарким июнем, и потом, встречаясь, говорили, и я видела, что она будто молодеет на глазах, и лицо, её, состаренной враждою и заботой, светлеет. Начались суды за имущество, дети от разных браков начали делить дом, не оформленный, как следует, как это обычно и бывает у нас. Люба знала, что правда на её стороне, решала, как перегородки будет ставить, да боров выводить на две разные трубы, и машину продаст, а тем детям, которые не её, не даст ни копейки. А в сентябре прибежала ко мне её дочь, – мамка свалилась в огороде, помирает мамка. Свезли Любу аж за двести пятьдесят километров в далекий город Ржев, да, что было толку везти, и лечить не лечили, а выбросили домой – помирать. Маялась, плакала она, уходя, угасая, и все пыталась наказать детям, чтобы жили дружно, но своего не упу-

стили бы, и, предчувствуя смертный свой час, одно успела дочери сказать – не хорони меня к нему, хочу одна лежать.

Отпевали мы её в том же году. Небо было той пронзительной голубизны и высоты, которая бывает в марте, да в октябре, и темнел влажный шифер крыши, и старая яблоня, росшая перед домом, всё бросала наземь желтые, никому не нужные яблоки. Сидела на грядках пересаженная и укрытая в зиму Любой клубника, тлела картофельная ботва на кострище, мешки с комбикормом были заботливо убраны в сарай, цветы, которые так любила Люба, еще вспыхивали огоньками, чисто выметенный двор еще хранил следы её ног, а вот уж и гроб с ней стоял на тех же, крашеных её мужем, табуретках, как последняя точка. Кофту на Любушку дочь надела парадную да тёплую, чтобы не мёрзла мамочка, да платок повязала яркий, с цветами – будто жива еще. Отец Геннадий, дьяк Николай и певчие молились об упокоении души новопреставленной Любови, прихожанки Храма Илии Пророка, а начавшийся ветер трепал черные подрясники и длинные юбки, рвал безжалостно из рук требники и ноты, раздувал ладан в кадиле, и жалобно гремело пустое ведро, катаясь в вольере, из которого еще в мае увели хозяйского пса. И только на словах" Аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа» – поднялось ниоткуда белое, почти прозрачное облачко и растаяло. А ветер дул все сильнее, и все безмятежнее становилось Любушкино лицо, от которой отлетели, наконец, все земные хлопоты и суетные заботы. И снова шли дорогой к кладбищу, наступая на еловые ветки, которые бросают в деревнях, чтобы знал проходящий – горе в деревне. И падали сухие комья земли в свежевырытую могилу, и плакали, не стыдясь своих слез, все, кто остался в нашей деревне и слова батюшки о временной жизни нашей так и отзывались в душе – что у верующих, что у не верящих ни во что. Покойся с миром. Не смог твой муж без тебя даже – там…

Пашка Голованов и Леньчик

Пашка Голованов, худой, коротко стриженый брюнет, одетый в потерявшую всякий товарный вид зеленую дамскую куртку, и Лёньчик Плюснин, бывший блондином еще в тяжкие годы застоя, ладят на зиму конуру для Головановского пса Алтайки. Пёс кудлат, но местами, имеет вечно виноватый вид, и дурную привычку шляться по окрестным помойкам. Неделю назад Пашка, крепко осерчав на Алтайку за то, что тот разлегся на его свадебном костюме, приготовленным на полу для глажки, свел Алтайку в лес, и привязал к стройной высокой осине. Будешь тут сидеть, кукин кот! – кричал Пашка в сердцах, – всю ты мою холостую жизнь свёл на нет! Одни потраты на тебя! Ты жрёшь хуже борова как много! А я тебя корми! Опять на образование трать средствА! – тут Пашка задумался. Откуда-то текст ему показался знакомым, буквально затверженным наизусть. Блин, – Пашка почесал шею, – точно. Бабка меня так и раздражала в молодые годы. Всё фыкала, фыкала[1]… а и померла. Алтайка сидел смирно, ощущая важность момента, и косил глазом на муху, так удачно севшую на нос. Всё, – Пашка завязал хитроумный узел, похожий на кукиш, – вот. Сиди тут. И думай. Эта? А! Раскаяние – путь к свободе, – и Пашка, загребая сапогами опавшие прелые листья, побрел, не оглядываясь к дому.

Через час он вместе с Леньчиком, соседом и закадычным другом, разливал торговую водку по голубым кружкам с желтой надписью ЛДПР, – Лень, блин, теперь и «дрожалочек»[2] нет, скажи? Теперь и майонезу нет, – Леньчик таскал чайной ложкой зеленый горошек из банки, – скажи? А колбаса? Чу, – Пашка долил водку и постучал по донышку бутылки, – картохи в хрущок[3] наварим, сольцой присыпем… а, помнишь, когда и баба пошлёт за оборышами[4], не? А да, – Леньчик рубанул по колбасе. Колбаса странно взвизгнула и спрыгнула на пол. А драчёны[5] бабины, – начал Пашка, – и молока парного кумку[6], а? Из-под стола раздался звук, какой издаёт вода, всасываясь в воронку. Кленовый ты пенёк! – Пашка посмотрел под стол. Под столом сидел Алтайка и давился колбасой.

– Алтайка ты мой! А я думал всё! Приговорил тебя, кобеляка ты несоблазная[7]! Прохартался[8], козлинушка! – Пашка сполз на пол и обнял Алтайку. Алтайка лизнул его в лицо, дыша чесноком. На шее у Алтайки красовалась верёвка, аккуратно скушенная сильными молодыми зубами. Пёс был похож на одетого в стиле grunge бродягу. Леньчик тоже сполз под стол, и так они сидели втроем, радуясь событию. Зря ты на яго деньги шумаркаешь,[9] – Леньчик уснул и проснулся одновременно, – ты его приспособь к охране границы! Можно и столб в полосочку покрасить. Я еще в совхозе краски две банки обреудил[10], а мне на что? Это и послужило к строительству дома для Алтайки. Разобрав сараюшку у дачников, Леньчик с Пашкой сколотили Алтайке царские хоромы. Для простоты решения конуру прибивали сразу к Пашкиной избе, чтобы не тратить гвозди. Иди, владей! – сказал Пашка Алтайке, – сплошной дастархан. – Откуда пришло в голову это слово, Пашка не помнил, но мнилось ему, что это связано с ханом, а значит, с золотом. Алтайка, уважая Пашку, втиснулся внутрь, лег на подстеленную Пашкой

---

[1] фыкать – сердиться.

[2] «дрожалочка» – майонезная баночка.

[3] хрущок – недоваренные овощи.

[4] оборыши – последние овощи с огорода.

[5] драчены – толстые блины.

[6] кумка – чайная чашка.

[7] несоблазный – безобразный, некрасивый.

[8] прохартался – проголодался.

[9] шумаркать – расходовать деньги.

[10] обреудить – украсть.

тюлевую занавеску и прикрыл глаза. Всю кыршину[11] ты мне отлежал заботами о себе, – и Пашка похлопал себя по шее. – Ни шагу в избу! Теперь служи, солдат! – и Пашка, поддав Леньчику коленом под зад, отправился в избу – обмывать стройку. Утром Пашка проснулся от запаха рыбы. На кровати, придвигая мощным телом Пашку к бревенчатой стене, спал, разметавшись, кудлатый Алтайка. На груди Алтайки покоилась жестянка – из-под рижских шпрот.

x x x

К ночи ветер поменял направление, и мягкий и душный южный уступил, стих, да и исчез вовсе. Задул наш, привычный, северо-западный, гневный, сырой, погнал впереди себя дождевые облака, табачными дымками разметал их по голубеющему еще вчера небу, и стало пасмурно и тоскливо. Зарядил дождь, от мелкой мороси усиливающийся до ливня, показывая всё, на что способен – как Петергофские фонтаны да шутихи! Дым из труб – вниз, лужи в грязной ряби, мокрые, серые избы да безлюдье, да непогода надолго… а дома – сентябрьские мухи, ковром по окнам, да мышиный писк за стеной, да крысиная пробежка по картошке в погребе… время печек, горячего чая, да шерстяных носок, серых, овечьей шерсти, с цветной продержкой из распущенных старых кофт…

[11] кыршина – тыльная сторона шеи.

Смотрины

– Наташка! – мать кричит из окна, и от её крика бросаются врассыпную куры, – иди, бельё сыми, видишь, туча? Тазы возьми с бани! Шевелись, тетёха, все проспишь!

Наташа доливает воды в выварку, в которой булькает, издавая запах хлорки постельное, и бежит к веревкам в глубине сада. Белье пересохло, но все равно набралось запаха скошенной травы – днём отец обкашивал участок, и теперь трава, подвядшая, сладко и дурманяще пахнет. Бельё аж синеет, да еще подкрахмалено – это у них в заводе от бабки, у той – всё хрусткое, кипенно-белое, занавесочки, подзоры, салфеточки. Фу, мещанство, перед людьми неловко, – думает Наташа, но матери не перечит. С бельём – домой, на веранду. В избе всё вверх дном. Мать домывает полы, и доски, крашенные рыжим суриком, дымятся от горячей воды с щелоком. Окна перемыли накануне, терли мелом, газетами, оставляющими тяжелый свинцовый налет на руках, обметали по углам паутину, отец хотел еще и печку наново побелить, да времени не хватило. Все тяжелые ватные матрасы были вынесены вон, в сараи, и там развешаны на перекладинах, подушки выбиты, половички домотканые, сделанные еще бабушкиными добрыми руками, висели на слегах, за огородами. Младшие братья носились бестолково, и только мешались под ногами, строили рожи, и кричали Наташке «тили-тили-тесто», а она, ощущая странную тяжесть в ногах, волновалась до того, что не в силах была отвесить им подзатыльник, и только махала на них полотенцем. К вечеру была стоплена баня, отец натаскал воды столько, что молочные бидоны пришлось занимать у соседей. Братьев отправили в рощу за березой на веники, и те, весело гикая, притащили целый воз, как на Троицу. Стол накрыли во дворе, под яблоней, мать не пожалела новой, в алых маках, клеёнки, на которую сейчас расставляла тарелки, стаканы да рюмки прессованного хрусталя. Братьев заставили загнать кур, чтобы не загваздали двор, а корову встречать отправили тётку-соседку.

– Наташка, время! – мать глянула на ходики, – с района автобус в восемь двадцать будет, сдурела! Я тебе выгладила там! На стуле висит! Бусы мои возьми, слышь?

– Мам, – отзывалась Наташка, бегая по комнате, – какие бусы, мам? А где кулон мой? Мам?

– Где ложила, там лежит, я в твои вещи когда лезла, не?

– Мам, помада где? – Наташка красила губы тайно, чтобы мать не видела, – но теперь уж можно сознаться.

– Я те дам помаду, я те дам губы-т мазать, – кричит мать, – сдурела, ты что? – мать отпускает бранное словцо, братья заходятся счастливым смехом, и бегают по двору, повторяя за матерью, пока не натыкаются на отцовский кулак.

Слышно, как Наташа стучит пятками, как падает стул, как скрипят рассохшиеся дверки полированного гардероба, и вот уж солнце стало потихоньку садиться за дальний край деревни, как послышалось урчание автобуса, и слышно стало, как открылись двери, как загомонила толпа, и облачко пыли, поднятое рейсовым автобусом, опало в палисадник соседского дома.

– Наташка! – заорали братья, устроившиеся на крыше, – жених идёт!!! Мамка! Наташкин жених идёт!

И вот уже толкнул калитку молодой парень, с букетом поникших цветов в руке и с рюкзаком, врезавшимся брезентовой лямкой в плечо. Постоял, осмотрелся, показал братьям кулак – а ну, слазь, и пошел знакомиться. Вылетела Наташка, красная, сияющая, бросилась ему на шею, и он обнял её, и закружил – радуясь встрече, теплому летнему вечеру и тем ночам, которые можно будет теперь им проводить с Наташкой вместе, на совершенном законном основании.

Курочка Ряба

– Гошечка, голуба ты моя! – баба причитала, утирая неискренние слезы пестрым передником, – Гошечка, ну будь ласочка, ну, миленькай! Вечно за тя буду Богу молить, не?

– Надежда Петровна, ну, что вам? Я готов помочь, но поймите меня правильно! Мой отпуск … – Жора отложил ноутбук с начатой статьей, – что вам? В аптеку? Хлеба? Жуков собрать? Сделаю! А вы уж, будьте добры! Садитесь, и пишите за меня! Сравнительный анализ причин… ну, что еще?

– Гошечка, – баба собрала губы в куриную гузку, – у меня курочка охромела. Бяда, не?

– Так, это, что? Отрубите ей голову? Но чур меня, чур! Я, знаете, не могу! И не просите! Вон, по деревне у вас мужики с какими лицами ходят! Они пусть и убивают. Я, знаете, толстовец, вот.

– Убить не, убить, че ты? У меня все куры рассидевши, а Серая токо и несется. Не, ей надо в город. В ветеринарку, вот. Там Любка соседская, она поможет, а убить, что ты! Я и сама могу, вот. Ты споймай, Серую, хроменькую, и свезем, не?

Меньше всего Жоре хотелось ехать в район, везти курицу, которая будет кудахтать и гадить, после чего в салоне будет вонять куриным пометом и птичьими перьями, но обидеть старую бабку, у которой он шестой год кряду снимал пол-избы, он не мог. Сняв очки в дорогой оправе, Жора включился в пыльную суету курятника, долго и бестолково хлопал руками, поднимая кур с насеста, отбивался от петуха, норовившего клюнуть его в глаз, и, наконец, вытащил на свет заполошную печальную курицу, с красными глазами, молящими о пощаде. Курица неловко ткнула Жору в руку, и села в корзинку, где начала орать и орала до самого города. В ветеринарке никакой Любки не оказалось. Уволивши она, – угрюмо сказала усатая тётка в синем халате, – ищи теперь, где не знаю. Жора хотел предложить бабе дать курице амнистию и выпустить её в лесу, но осекся, видя горестные бабины глаза – красные, как у курицы. Та, впрочем, в городе затихла, подозревая, что ей уготован путь не в печку, а в общепитовский котел. Спрашивали у прохожих, кто может оказать курице помощь, и, наконец, какой-то старичок, просивший милостыню у мясного ряда на рынке, согласился помочь. Пришлось ехать покупать мужичку водку, а курице лейкопластырь, бинт и зачем-то нашатырь. Омморок могет быть, – пояснил старичок, – кура, она нервная в плане душевного расстройства, потому как баба! Хоша и с перьями… Старичка пришлось брать в машину, и Жора понимал, что теперь даже японский освежитель салона «Аромат Фудзи» не забьет чудовищную вонь немытого тела, перегара и плесени. В сарае, приспособленном дедом под амбулаторию, сидели в клетках птицы-подранки, а по верстаку ходили два бесхвостых кота. Дед неожиданно ловко обмял пальцами куриную лапку, крякнул, дал курице под нос нашатыря, отчего та выпучила глаза и закрыла клюв, и быстро и ловко наложил шину. Вона как! – дед стребовал еще «рупь на опохмел» и был возвращен к месту работы. По дороге домой довольная баба рассказывала Жоре, как она была в девушках, как била босыми пятками пол в клубе и провалилась, как Мишка-тракторист хотел на ней жениться, но разворошил трактором угол избы и был бит батей, как мамка увидела пожар и испугалась, отчего брат родился с родимым пятном. Баба все говорила и говорила, похрапывала курица, от которой несло нашатырем, а пыльная дорога виляла то влево, то вправо, и клонился к закату день, и день был – потерян. Когда, разгоняя слепней, Жорина машина въехала на двор, баба, подхватив корзинку с Серушкой, поковыляла к сараю, радостная, что курочка спасена, и поток яиц не иссякнет. Жора, потягиваясь, вылез из машины, раздумывая, что лучше – пиво, или водка, но холодная, и был испуган криком бабы – Гошка! Ирод! Ты каку куру т взял, а? Чорт сляпой! Жора подошел и сморщился – Серушка прогуливалась по двору, заметно припадая на левую лапку. Вторая Серушка, с забинтованной лапкой, грустно ковыляла рядом. Вы бы хоть как-то кур своих пометили, – ему было

неловко и жалко себя, – они ж обе серые? Сам ты серай! – баба Надя прижимала к груди хроменькую, – у ей, вишь? хвостик набок маленько, сережка подморожена, клювик сбитай… Ага, – добавил Жора, – и ее петух не любит! Точна! – баба развеселилась, – у ей, глянь, на спине пёрья! А у хроменькай – пёрьев нет, потому как любимая жена! Гош, а после завтрева съездим, не? На автобусе, – отрезал Жора и пошел пить. Водку, понятное дело.

x x x

Вечер спускается тихо-тихо, прокручивая рождение дня в обратном порядке. От жары остаются еще лишние градусы, но и они – истаивают, и озеро подергивается дымком от костров, туманом от болот и дышит еле слышно, укладываясь спать – на ночь. Я сижу на полусгнившей скамейке, поросшей мхом, как нежным зеленым плюшем. У берега вода гладкая, морщит воду тростник, пускают круги вечерние мальки, которых гоняет щучка. Я сижу, затаив дыхание и наблюдаю за мошкой, роящейся над водой. Время гудеть майским жукам – но это – позже, как только стемнеет.

Я курю, хотя давно бросила – но я тяну хороший табак, как старый виски, и кот приходит на незнакомый запах, трется у моих ног, урчит ровно и громко, изображая нежнейшую любовь. При попытке взять его на руки, он прыгает на молодую ёлку, с неё – не спускаясь – на берёзу, с берёзы – на осину… Будто рыжая белка мечется среди деревьев. Набегавшись, кот лезет в свою любимую, глубочайшую яму, получившуюся от падения старого дуба – вывернуло корни. Яма полна тайн, чудес и сухого мышиного запаха. Кот проползает по яме насквозь и вылезает к воде, и пьет её, быстро двигая крошечным язычком. По воде бегут полукружья, кот чихает и тут же отвлекается на пролетающую над ним цаплю.

Скоро зацветут ландыши, и их аромат будет сильнее всех запахов леса…

Баба Меля

С привычкой вставать в пять утра баба Меля так и не рассталась, и теперь лежала в темноте, ворочалась, и пружины дивана, на который баба перебиралась на зиму, отвечали ей – будто убаюкивали. В темноте всегда мысли приходят, но какие-то тягомотные, не такие, как днём. Днём только и думай – к поросенку, к курам, соседа попросить капкан на хоря поставить, да у Ленки-почтальонши узнать, не дадут ли пенсию поранее, а то Новый год, как-никак. Пенсия была грошовая, смешная, но баба Меля была рада, и всё недоумевала, как так – на работу не ходи, а тебе денег дают, за что? Если рассмотреть, как за прежний труд, то недодали, а если так, за уважение к старости – то и довольно будет. Баба пошевелилась, и кошка Лиза, спавшая у неё в ногах, мягко спрыгнула на пол. Тишина стояла такая, что слышно было, как кошка лакает молоко. Сейчас на двор пойдёт, – баба села на диване, – значит, и нам пора…

За окном была мгла, снег, лежавший на крыше, таял, и окно казалось занавешенным капелью. Отмяча, оттепель, случившаяся ровно посерёдке декабря, была досадной. Баба добавляла к пенсии, откуда могла – продавала яички, бралась топить избы дачникам, зимовавшим в городе, плела носки на продажу, и все накопленное отправляла внучке, в город. Город представлялся ей деревней, в которой одну избу поставили на другую избу – и так до неба, отчего в городе было бестолково, не было света, а только мигали день и ночь электрические лампочки. Отмяча была досадна тем, что озеро, так ловко схватившееся льдом еще на Михайлу, раскисло, и пошло жёлтыми пятнами, говорившими о том, что выходить на лёд опасно. Рыбаки, снимавшие у бабы Мели каждый год парадную залу, вызывали её на почту, где баба, выпростав ухо из-под теплого платка, слушала далекий голос, и кричала в трубку – приезжай, милок, нипочём, встанет, встанет! Мужики т сидят, ага! Жерлицы Васька ставил, щуку вчера принес, ехай, ехай, не боись, а тот, невидимый, всё спрашивал обстоятельно, и обещался быть к Новому году. Баба аккуратно вешала трубку на аппарат, наваливалась грудью на прилавок и заводила обстоятельный разговор с телефонисткой Ленкой, которая уж наверняка знала, в какие числа придёт бабе пенсия.

Фролов

Понимал Фролов, что никто ему отпуска не даст, и уехал сам, в самоволку – уволят, так и уволят, кто кому нужнее? По Фролову выходило, что он – им. До Фировой пустоши ехал дольше обычного, хотя и на заправку всего пару раз заехал – не хотелось даже вылезать из машины. Сёк дождь, нудный, октябрьский, и уже прошивало мокрым снегом, и гнало по трассе, как обезумевшую, рыжую листву. Матерясь про себя, съехал Фролов с трассы на проселок, и пошел его Гелендваген валится с боку на бок, охая, как живой. Собака, спавшая на заднем сидении, потянулась, зевнула сладко, встала, нетвердо держась из-за качки, положила голову на плечо Фролова. Пятилетняя сука, ирландская сеттерша, Патрисия, или просто – Пат, понимала настроение Фролова, как всякая умная баба – сердцем. Фролов дернул плечом – мол, спасибо, подруга, потерпи, скоро доедем, но скорости не прибавил. Двумя часами позже, иззябший, сидел на корточках у дымящей печки, кашлял, вынимал тлеющие дрова на топочный лист, прожигал ходы прошлогодними газетами, двигал туда-сюда шиберку – все зря. Плюнул, сел на пол, уронил лицо в ладони, да так и проспал – недолго, с полчаса. Вынул на ощупь бутылку водки из рюкзака, сделал пару глотков, пожалев, почему-то, что не делают сейчас «бескозырок», как раньше, и успокоенный, похлопал печь по боку – давай, старушка, не подкачай. Печка, сложенная впрогарь, грела плохо, служила больше для готовки, но сил на растопку русской не было. Фролов отщелкнул в душник колечко бересты, та зачадила, загорелась красноватым, было видно, как мерцают, перемигиваясь, алые огоньки по саже, и вдруг загудело, словно печь вдохнула, и потянуло огонь из топки – книзу, по оборотам. Фролов вздохнул облегченно, насыпал в старое ведро сухого корма для Пат, вышел за водой на колодец. Дождь прошёл, похолодало, сбрызнуло звездами по чистому, умытому небу, и Фролов, забыв про воду, сел на верхнюю ступеньку – курить, и вдыхал горький запах крепких сигарет и смотрел на дальний голый осинник и понимал, что вернуть ничего нельзя, а как смириться с этой, новой жизнью – не знал.

На охоту Фролов с Пат отправились вечером, впрочем, безо всякой надежды – октябрь хоть и был в самом начале, но Фролов впервые поехал один, и вся эта затея была провальной. Пат трусила впереди, зная, что нарушает принятые правила, но чувствуя настроение Фролова, делала вид, что вышла просто так – на прогулку. Все же не удержалась, подняла утку с болотца, но Фролов даже не расчехлил ружья. Пат опустила голову и посмотрела на него с укоризной, – ну, как же ты так? Найдя сухое место под огромной елью, Фролов сел на сухую подушку из иголок и так и сидел, глядя, как умирает солнце на закате, и проблескивает алое, как кровь, в бочажинах. Пат легла рядом, положив голову на сапог, и прикрыла глаза. Фролов смотрел на стихший лес, ощущал, как слетает сухой лист, кружась, цепляясь за ветви, как где-то выходит пузырями болотный газ, как трещит где-то в глубине валежник под невидимым зверем. Тоска, копившаяся весь последний год, когда он узнал о болезни Серёжки, друга единственного и на все времена верного, першила в горле, саднила под ложечкой, и хотелось завыть, упасть на эту землю, по которой они с Серёгой каждую осень ходили на охоту, и рвать ее, землю, зубами, чтобы отпустило, ушло, пропало это проклятое чувство одиночества. Но Фролов зубы стиснул, потянулся за ножом – хотел просто всадить в землю – так вот, по рукоять, чтобы – со всей силы, но порезался, и закровило по ране, и он тупо смотрел, на руку, не в состоянии даже перетянуть рану платком. Но стало легче, и пробились слёзы, и он плакал, задыхаясь, как обиженный пацан, не понимая, за что, как, почему – отняли у него Серёгу. Стало совсем мрачно, и Фролов встал, почесал Пат между лопаток, она благодарно лизнула, извернувшись, его руку – и они побрели домой, скользя, оступаясь на раскисшей дороге, и только в этом молчании, согласном, единодушном – в таком, каким было их с Серёгой молчание, Фролов как бы шел рядом с Серёгой, усталый, вымотанный, с пустым ягдташем, но все равно – после охоты,

после настоящего мужского дела. Вернувшись в избу, выстывшую мгновенно после их ухода, Фролов допил из горлышка водку, и вдруг снова заплакал, не стыдясь себя, и, сорвав с гвоздя на стене Серёгин плащ, дал себе волю вспомнить последние минуты в больнице, и похороны на подмосковном кладбище, когда он, не выдержав, пальнул в воздух, и сквозь плотные тучи вдруг упал на свежий холм – солнечный луч.

Фролов, пустой изнутри, полупьяный, но уже живой – вышел из избы, попытался поймать вышку, но не смог, но на всякий случай набрал жене смс-ку, и выходило в ней так – если жена получит – «Все нормалек, Кать. Жив. Люблю. Фролов».

Август

Август похож на уходящую любовь. Когда всё уже ясно, нет надежды на возвращение того, светлого и горячего чувства, но есть и прелесть медленной, неспешной разлуки, когда еще не пропало желание вглядываться в любимое лицо, с грустью ловя в нём отчуждение, отступление от тебя. Но вы ещё вместе, и ещё дарят тебе такие дни, как сегодняшний – с прозрачной лунной ночью, с паутиной в брызгах росы, и с утром – полным тихого света. Пахнет скошенной травой, одуряюще свежо и сладко, озеро лежит покорно, словно спит. Ласточки ещё чертят воздух, и стоит мошкара столбцом. И сердце сжимается печальным восторгом благодарности за то, что – было, и не будет уже никогда. Будет другая любовь, но не сейчас, а там, за перевалом зимы, за весенней водой, за соловьиным маем…

И березовый лист залетел со двора, да так и остался лежать на разогретых досках пола.

Баба Люся и яблоки

В сенях избы стояли мешки. Воздух густо пах яблоком, сеном и мёдом. В самой избе шла работа. Валька, приехавшая с мужем помогать матери переработать невиданный урожай, споро разрезала яблоки, полоскала их в тазу, а Витька жал со всей дури на толкач соковыжималки. Соковыжималка кряхтела, повизгивала, и горы яблок, рассыпанные по избе на чистых мешках, превращались в жмых и в желтовато – розовый сок с рыжей шапкой. В голову лезли мысли о железе, витаминах и грядущих простудах.

– Мама! – Валька прополоскала рот теплой самогонкой, – на хрена вы всё содите столько яблок, это ж уму непостижно, куда такие горы?

– СОдите-сОдите, – баба Люся ловко ставила трехлитровые банки с соком в кастрюлю – стерилизовать. Зятю предстояло крутить ключом жестяные крышки, но, не усердствуя, чтобы не лопнуло. – Папка твой, Царствие ему Небесное, сОдил! И какие сорты по нашему бедному времени!

– Поди, пепин шафранный? – брякнул Витька, – или эта… папировка?

– Сладкие, зимние, кислые и ранние, – какие сорты были, такие и сОдил. Начали городские, мол, ученые, а мы тут в деревне дураки дураками лаптями хлебам шти кислые. А ешь да пьешь за обе щеки!

– Да я что? – Витька имел характер миролюбивый, потому как был склонен к бытовому пьянству, – я вот, в кино видел насчет из яблок вино делать? Вы бы, мама, рецепт, где списали?

– Тебе только пачку налить! – тёща проскрипела в сени, кривя ноги, – во! рожа-то! Аж сизый стал! Брось пить, кому сказала!

– Мама, отстаньте от него, – Валька грузно опустилась на табурет, – он работат целым дням света не видит белого. В городе все пьют. Нервы такие. Ужас. А яблоки остатные надо корове отдать. Пусть сок дает. Мама, ну куда закатали в прошлый год тридцать баллонов трехлитровых? Я по подъезду раздавала, узбеки не берут, говорят, персики любят. Чего у вас, мама, персики не растут?

– А ты сОдила? Вот, посОдь. Вырастут. Тебе либо сливы мало. Завтра Нюра четыре мешка даст. Варенья наварим. – Тёща мечтательно посмотрела в слепое от мушиных ног оконце кухоньки, – жаль, вишни мало было. И кулубника не вызревши. Яблоки закатаем, будем картоху копать.

– Прав был Хрущев, – Витька качнулся и передавил крышку. Банка охнула и истекла по рваной ране яблочным соком. – Капиталистов надо изживать! Частнособственнические инстинкты потому…

– Тряпку давай! – заголосила теща, – куды трудов скоко спустил! А сам! А самогонку берешь, руки не отваливаются?

Так и наступил вечер. Забубнил телевизор, и новости все были хорошие и приятные, и погоды стояли самые настоящие бабьи-летовские, а впереди была еще картошка, морковка, свекла и капуста, а потом – душный город с сырым мраморным полом в метро, дом-высотка напротив окна, вечные простуды да импортное пиво в ярких банках.

– Валь, – сказал Витька, приняв из рук супруги эмалированную кружку с самогоном, – а давай в деревню вернемся?

– Сдурел? – сказала Валька, – хотя… разве только огород плиткой выложить?

Тимоня Ионин

Снег на этот год, считай, и плюнул. Не было снега-то. Вот – начало апреля, а сушь, земля пылит. Тимоня Ионин, мужик крупный, кряжистый, имевший в ногах ту необходимую для обхвата конского тела кривизну, сидел на груде свежеколотых дров и наблюдал жизнь. Жизнь, по мнению Тимохи, имела в своем основании исключительную и неотвратимую пользу. Ведь как? Ионин продул папиросу так, что табак вынесло в гильзу. Шмыгнул носом, потянулся за кисетом – самокрутку крутить. Хотя и газета нынче не та, цветная, негожая. Тимоня вернулся к пользе. Солнце на что встает? Чтобы свет, стало быть, экономить. Если нагрело – картоху в рост. Дождь пошел – полив отменить. Ветер подул – ёлку завалил. Елку распилил, поколол – дрова. Все ладно укладывалось в смысл, кроме снегопада. В малых снегах толк был для увлажнения почв. В средних – Ионин снег трамбовал аж по окна – для тепла устойчивости. А вот сильные снега Тимоню раздражали. Бесперспективностью расхода. Впрочем, изъяны есть кругом. Вот, к примеру, Лизавета. Тимоня высмотрел ее фигурку аж у поворота – от-от, идет, бёдрами вилят, как пишет! Лизавета была разведенка, что давало Тимоне право поползновения, но, видать, жизнь Лизавету изобрела неправильно. Не для его, Тимониного, удовольствия. Лизавета шла в сельсовет, высоко задрав нос, утопая каблуками в пыли, отчего фигурка ее несколько кренилась. Лиза-Лиза-Лизавета!!! – заорал Тимоня дурным баритоном, – я тябя люблю за это! И за это, и за то … – тут Ионин и съехал с дровяной горки. Березовые полешки были сыроваты да сучковаты, а еловый подмес весь смоляной, так что оказавшийся на чахлой травке Ионин утратил мужское обаяние. Дурак ты, Тимка, – беззлобно сказала Лизавета, продолжая и стоя на месте поводить бёдрами, – а я тебе скоро штрафы выпишу! За чегой-то? – лежащий на земле Ионин был беспомощен, как дитя. За чего, за чего? Кобеля спускал? Коза твоя у теть Наташи все яблони обгрызла, а еще с района сказали, что ты електричество воруешь! Во – за что! – и сняв туфли, оглянулась, вытащила из сумки чуни, переобулась, ножками потопала и побежала вприпрыжку. В сельсовет.

От яркости солнца и нанесенной обиды слеза покинула правый глаз Тимони, набухла и сползла по щеке. Кобеля… а не спусти, на? У его ж любовь, нет? А коза? Коза ж баба – на, останови! Характер! И вообще. Жизнь сегодняшний день предназначила для другого. Тимоня постоял, снял налипшие на смолу щепки, и пошел казанку на воду спускать. Жизнь речку явно предназначила для одного – рыбалки.

Громов

– Мам, – сказала дочь, оторвавшись от телефона, – мне твой Громов мозг вынес.

– Машка, я просила не называть отца по фамилии, – Ира махала в воздухе руками, чтобы скорее сох лак, и походила на огромную птицу, – у папы имя есть. В крайнем если случае.

– Лучше бы ты меня родила от Бориса Аркадьевича, – дочь нашарила ногой тапок, – я бы его звала Франкенштейн…

– Финштейн, – Ира посмотрела в потолок, – я бы и сама хотела. Но теперь-то как?

В тесную кухню впал Громов, обветренный, загорелый и пахнущий дымом костра и пылью дорог. Когда он сел за стол, на шее стала видна светлая полоска – от нательного крестика.

– Ир, едем? – спросил он и порыскал глазами в поисках еды. Еды не было. Ира работала на двух ставках, и готовить еду считала преступной тратой времени.

– Куда? В Кузякино твое?

– Почему в Кузякино? – обиделся Громов, – в Кузькины Пяди. Красивое ж название, Ир?

– Мне Санто-Доминго больше нравится, если честно. Поехали. Но на три дня. А потом я полечу в Санто-Доминго. Но без тебя, Громов. Ты выпадаешь из пейзажа.

В Кузькиных Пядях свирепствовала осень. Было такое ощущение, что у природы случился переизбыток в красно-желтом спектре, и она спешно и щедро раскрасила осины, клёны, вязы – как попало. Но вышло красиво. Всё полыхало, небо было из синей части спектра, и живописно с листвой сочеталось в необыкновенных пропорциях. Было до того хорошо, что хотелось молчать. Громов, женатый на Ире двадцать один год, вел жену за руку по лесу, и показывал ей грибные шляпки с таким видом, будто он все это весной и посадил. Ира честно плелась за ним, спотыкаясь о поваленные деревья, и с тоской думала о том, что сегодня ее подружки собираются в сауну на Новой Риге, а ее там не будет. Громов продолжал изводить жену деревенскими чудесами, показывал ей нежных пучеглазых лягушек, сидящих у колодца, тряс зачем-то рябиновое дерево и горькие на вид рыжие ягоды падали на крышу с сухим стуком. Избу Громов купил давно, и все откладывал возможность провести в деревне отпуск, но этот год, перекрывший границы, оказался подходящим для отдыха в Кузькиных Пядях. Громов с истовостью неофита влюбился в деревню, и все лето, по выражению жены «маялся дурью». Мужиков в деревне не было давно, потому Громов сам, по книжке, перекладывал печь, поднимал угол дома, латал крышу и вколачивал длинные гвозди в подгнившее крыльцо. Выходило криво, но было так радостно ощущать себя мужиком, хозяином, и выходить покурить на вечерней зорьке, и вдыхать запах скошенной травы и слушать, как ухает в лесу филин. На хрен мне Москва? – думал Громов, когда, обнажившись по пояс, косил литовкой траву, увязая острием косы в земле, и тупо смотрел на бабку-соседку, которая орала ему через забор – на пятку жми, на пятку! Чу! Чёрт городской… Оказалось, что умершая давно деревня сохранила свою жизнь и без человека – по брошенным избам можно было найти и самовары, и чугунки, и ухваты, даже гармонь с проеденными мышами мехами. Громов шалел от счастья, набивая наматрасник сеном, и даже ставил в банку фиолетовый тяжелый люпин, затянувший все совхозные поля. Не хватало одного – жены. На дочку Громов и не рассчитывал, а вот жена была нужна. И в нехитром мужицком быте, да и вообще – щей там сварить, или спинку в бане потереть. А сейчас Громов, распахивая свою душу, видел, как морщится Ира от дощатого сортира за сараем, как брезгливо обметает табуретку, прежде чем сесть на нее, и понимал – или – или.

– Ты тут можешь сидеть, сколько хочешь, – в машине Ира протирала руки влажными салфетками, – но моей ноги тут не будет. И учти, Громов, у тебя повышенный холестерин, язва двенадцатиперстной и простатит неминуемый. И левый желудочек увеличен. Тахикардия еще

у тебя, Громов. И когда ты рухнешь лицом в грядку, никакая бабка тебя не спасет. Задумайся, Громов.

Громов задумался, собрал в Москве куртки-джинсы да байковые рубашки, спёр эмалированный чайник со свистком и книгу «О вкусной и здоровой пище». И уехал. Всю зиму колол дрова, мылся в бане, которая топилась по-черному, варил в чугунке картошку и даже почти не пил. Плохо было без женщины с её теплом и телом, хотя стирать он неожиданно научился, и замачивал белье в лохани, поражаясь тому, как раньше бабы справлялись с таким делом. Громов дивился тому, насколько ему мало нужно, вспоминая груженые с верхом тележки в супермаркете, и жарил обваленную в муке мелкую речную рыбешку. Весной, как сошел снег, Громов замочил семена и поразился, что из такого крошечного семени вырастет огурец. Или помидор. Соорудил парничок и, сделав пальцем лунки, начал тыкать в них проросшие семечки с длинными белыми хвостиками. Оглянулся он на тихий смех и увидел молодую женщину. Женщина стояла у забора и смотрела на Громова. К женщине была привязана коза с розовым выменем.

– Ой, ну что же вы делаете-то, – сказала она и расхохоталась.

– А чего? – смутился Громов, – огурцы сажаю.

– Да вы их корнями вверх торкаете, – она посерьезнела, – а надо росточком, вы по первости, да?

– Ну… а козу вашу как зовут?

– А как меня зовут, спросить не хотите?

Не вернулся в Москву Громов. А козу, оказывается, звали Зинкой. Вот так.

x x x

Сегодняшний день неяркий, теплый по-осеннему, тихий. На небе вдруг обосновалось облако, похожее на поварской колпак, и долго стояло над Заячьим островом, истаивая постепенно, пока колпак не исчез и не стал наковальней, а наковальня не выровнялась в длинную, странную птицу с изогнутым кверху клювом. Озеро дремало, вчерашние волны принесли от дачного посёлка тяжелую и вонючую зеленую муть – озеро начало «цвести» через год, как в него понеслись сточные воды, и даже родники, бьющие в разломах ледниковой чаши уже не в силах оживить некогда чистейшую воду. В перелеске пошел редкий и робкий гриб – вездесущая сыроежка и сестрички-лисички, от долгих дождей напились болотца, бобры, спасавшиеся от июльской жары под водой, стали выходить на берег и стачивать молодой осинник. День перевалил через точку зенита, и, не торопясь, пополз к вечеру, подсвечивая сброшенные рябиной ягоды, упавшие в высокую траву, изумленно остановился перед зреющим виноградом, подогрел спинку черной курицы, копошащейся на компостной куче, и ушел. На закате стало влажно, потянуло сыростью с болота, и пал туман, невесомый, легкий, спрятал в себе отцветшие стручки люпина, яркие веера папоротников и мелкие цветки разнотравья. Туман не был густым, он был, ложился и взлетал, будто танцуя над вечерним лугом, и как хорошо было идти по нему, не разбирая дороги – будто вплавь.

Дед и Кутузов

– Вот так, брат, вот так! – дед отщипывает кусок хлебного мякиша, макает его в масло, оставшееся от шпрот, и бросает веселому молодому псу, который второй час валяется в стружках под верстаком, не в силах выйти на холодный двор, – ты, брат, шельмец еще тот! Кто пужал курей у Михалны? А? Я тебя героическим именем присвоил, вона как! Кутузов! А ты кто есть в своей сущности? Ты как есть негожий твой папашка! – на этих словах дед заходится радостным, тоненьким смешком, очевидно, рисуя себе в воображении соседского Черныша, разжиревшего от долго сидения в загоне, – папашка – то и есть! Ой, было ж дело, загон летом отскребали, баба Черныша навязала, да … – дед закатывает глаза, хлопает себя по пиджачку, явно ища сигареты, – а он что учуди? Отвязался! И намётом, намётом… что твой Чапай! На Егорову пустошь, туда ж гонялись, помнишь, не? – Кутузов прихватывает ножку дедовского табурета, и аккуратно подгрызает её, продолжая молотить хвостом, – а все! Еле коров назад вернули, ну! Что ты! Дубца папашка т отхватил! А другой раз баба его к мотоциклетке, вроде как в надежное место, а та возьми, да поедь, не? Внучок забаловал. Ой, Черныш жопой т тормозил как, а баба бегеть, ну! Концерт с цирком! – Дед курит. Новые пачки ему не мешают, из-за плохого зрения пугающие смертью картинки плывут, как грязные облака, а сигареты пахнут так же, как и раньше. Дед кашляет привычно, стучит себя сухоньким кулачком по груди, тушит окурок, бросив его в старый чугунный утюг, и, достав длинный рубанок, пробует резец пальцем, крякает, прилаживает длинную, пахнущую лесом доску на верстак, и начинает проходить её рубанком, и светлые локоны стружек осыпаются на пол, скрывая под собой Кутузова, такого же черного, как и его папаша. Тикают жестяные ходики, из которых давно уже не вылетает кукушка, скребется метель в окно, жарко дышит буржуйка, постреливая, и длится зимний день, короткий, как летняя ночь и длинный, как вся предыдущая дедова жизнь…

Лиза

Лиза купила дом. Избу. Изба смотрела на улицу маленькими окнами с голубыми наличниками. Сирень росла прямо в палисаднике, и, если распахнуть окно, кисти её падали на подоконник.

Лиза обошла пустые комнаты, потрогала пальцем печку, посмотрела на грязный палец, и зарыдала в голос. Ничего сказочного не было. Был ветхий дом, рассыпающийся на глазах, чужое жилье, хранящее запах боли, счастья и тоски. Денег почти не осталось. Жить было невозможно, а отпуск не имел конца. Собственно – Лизу уволили.

Спала она эту ночь у бабки-соседки, изнывая от духоты и бабкиного храпа, ворочаясь на набитом сеном колком матрасе. Утром, пока туман стоял над лугами, она пошла к реке, пугаясь каких-то шорохов, слушала движение воды и ощущала влажный холод и счастье. Попытки наладить жизнь провалились. Удалось съесть холодный бургер и выпить синеватого козьего молока. Лиза сидела на крыльце, курила и пускала дым в небо. По калитке побарабанили.

Вошел бочком, не вынимая рук из карманов, невысокий, но сложенный крепко, мужчина. Свистнул. Лиза не отозвалась. Подошел, сел на ступеньку ниже, закурил.

– Ну, что, хозяйка? – заговорил он первым, – мы дом будем делать?

Лизе стало легко от этого «мы», и, хотя с шабашниками дела она ни имела, ни разу в жизни – согласилась.

– Только… вы понимаете… у меня сейчас денег нет, – сказала она.

– Ну, – подмигнул гость, – беды нет. Когда дело сделаем, так и деньги появятся. Владимир, – он протянул руку.

– Лиза, – она коснулась ладони. – Елизавета Сергеевна.

Вот, с утра следующего дня все и завертелось. Гремела тракторная телега, груженная досками, везли цемент в пыльных мешках, приходили какие-то мужики, сидели на корточках, спорили, орали матом. Но дом вставал. Появилась осанка – будто больного поставили на ноги, перестали рассыпаться оконные рамы. Перебирали печи, вынося на траву кирпичи в мохнатом черном слое сажи. Месили глину, носили сапогами землю в избу. Лиза перестала переживать и просто – уходила в лес, в ближайший сосняк, где пошли маслята, тугие, скользкие – и вечером чистила их, и её смешили черные пальцы и хвоя, налипшая на джинсы.

Обедали за столом только втроем – сам Володя, Лиза, да дед-печник. Местные разбредались по домам. Дед выпивал «боевые» 120 грамм, после чего засыпал до сумерек. Лиза, стараясь не глядеть на Володю, мыла в тазу посуду, и ловила себя на том, что ничего не видит перед собой, кроме узкого, загорелого Володиного лица и глаз. С глазами было хуже всего. Желтые, волчьи. Володя все время щурился, будто боясь взглянуть – так, в открытую. Городская Лиза, книжная девочка, весь опыт любви которой сводился к встречам с женатым сокурсником, не понимала, почему ей так плохо и так хорошо одновременно. Она слышала только одно имя «Володя», и оно расширяло сосуды, от него билось сердце, а на губах все время был привкус железа. У Володи была странная манера говорить полушепотом, высвистывая начало фразы и сглатывая ее конец. Лизе все время казалось, что он подманивает ее – тихо, как пичужку. Скоро дед закончил печки, и остались они за столом – одни. И, конечно, был жаркий августовский день, когда от духоты никто не работал, а Лиза ушла к реке – сидеть на берегу и смотреть на воду. И слышать в себе этот свистящий шепот. И гроза пришла с юго-запада, и накрыло поле, и располосовало огненными кинжалами небо. И Лиза видела, как бежит через поле Володя, а ливень размывает дорогу, а он ищет ее и кричит, кричит… и была ночь, и в избе пахло смолистым деревом, и свежеструганный пол белел. Они лежали на панцирных сетках, и хохотали, и пили водку, запивая ее чаем. Он рассказывал ей про страшные войны, через которые он прошел, а она только гладила пальцем грубый шрам под левой лопаткой.

Лиза, расписавшая всю жизнь вперед – за годом год, рассчитавшая все, вплоть до месяца зачатия будущего ребенка и профессии мужа, Лиза, вежливо обманывающая своего московского любовника стонами, подслушанными в фильме, Лиза, не разу в жизни не уснувшая, не приняв душ – сейчас с трудом вставала со ставших серыми простынь, чтобы попить воды из ведра в сенях – и вновь ложилась спать, чтобы тут же проснуться. За месяц такой жизни она похудела, загорела до бронзы, и глаза ее, обведенные ночной синевой, стали громадными. Она ходила за Володей по пятам, он же на людях становился с ней чужим, говорил ей «Вы», и пару раз послал матом.

Дом поставили под крышу, только наличники оставили, заголубив их до цветков льна. Не изба – загляденье. Бабки ходили, ахали-охали.

К сентябрю зарядили дожди, посерели сараи, ночью ветер сшибал яблоки и они гулко тумкали на землю – собирать их было некому. Володя стал беспокойным, часто срывался на Лизу, отчего та обмирала и только пыталась поймать его взгляд. Как-то утром он вдруг пришел со страшным лицом, и начал кидать в сумку своё бельишко, рассовывать по карманам документы и деньги. Лиза смотрела на него молча. Не оборачиваясь, он вышел, тихо прикрыл за собой дверь и пошел в сторону автобусной остановки. Лиза, вдруг спохватившись, как была, в халате, кинулась за ним – и не успела. Автобус, переваливаясь и скрипя, уходил на райцентр. Лиза видела в окне Володин затылок, и бежала, крича, пока были силы – бежать. Падая и оскальзываясь в глине, она бежала, пока не упала, да так и осталась лежать под дождём.

Домой вернулась к ночи, не раздеваясь, забилась под груду одеял и так и лежала, пытаясь согреться. Ночью нашла бутылку водки и, сделав два глотка, уснула. Утром полыхнул сарай, в котором жили шабашники, Лиза выбежала со всеми – смотреть, но её оттеснили. В толпе говорили, что Володька-то «тюремник», имеет ходки, да человека порезал по пьяни, а у соседей обчистил дом. Приехал участковый, составляли бумаги, спрашивали Лизу о чем-то, она мотала головой и плакала.

В мае она родила девочку, слабенькую, светлоглазую. Хорошенькую… только на виске у неё было родимое пятно – бабы говорили, что беременным нельзя на пожар глядеть…

x x x

Стынет, стынет в сентябре – потихоньку, помаленьку, напускает холодку, ночью небо дышит уж не прохладою, а настоящим северным безмолвием, и уж не зябко – нет, уже по-настоящему холодно – опустишь ноги на пол, заставляя себя встать утром на сельскохозяйственные работы, и тут же – поднимешь. Так и будешь сидеть в раздумчивости, качая головой, как китайский болванчик – а где же мои шерстяные носочки, привезенные мамочкой из советской еще Эстонии? А носочки красненькие, в затейливую полосочку, да пришиты широким стежком на красную же, кожаную подошву. Сносу им нет, хотя зима у нас теперь по 8 месяцев верных. В медленно светлеющем небе видно, как торопливо убегают ночные облачка, истаивают, уступая место солнцу. Солнце тоже обманывает – согреет за день, накалит крыши да кожистые листья боярышника, ты и расслабишься, и вздохнешь полной грудью, да пойдешь по саду, подставляя голову под падающие яблоки… Начнешь картошку копать, вытягивая высохшую тину, вгоняешь осторожно лопату, стараясь не повредить, вынимаешь на ощупь гладкие, розоватые, желтоватые, новорожденные клубни, которым еще лежать в сарае, обрастая «шубкой» – чтобы выдержать холод подпола. Лук на грядках сухой, и сидишь на солнышке, плетешь косички из луковок, несешь осторожно – не порвалась бы, подвешиваешь у печки, любуешься, а потом и отрывать жалко будет. Помидоры гроздьями, и круглые, и грушками, и сливками, – какие хочешь, от розовато-нежных до багровых, и уже нет сил все это закатывать в банки, и кидаешь курам на двор, а те клюнут разок-другой, да и на компостную кучу – клювом в землю, червячков искать с умным видом.

Осень, благословенная пора, да и лето – бабье, бабья забота, – продлись, задержись еще, побалуй…

Нина Спиридонова

Рыжуха телилась тяжело, и, дав, наконец, жизнь крупной смешной телочке с крапчатым носом, слегла. Нина ходила по деревне, кланялась в ноги мужикам – помогите перевернуть, но желающих не было, и они с дедом ворочали ставшую враз неподъемной корову, до тех пор, пока ездивший с города ветеринар не махнул устало рукой – не жди чуда, вези в Можарово – на комбинат. Нина плакала горько, стоя в раскисшем сене, смешанным с навозом, и все гладила курчавый Рыжухин лоб, все смотрела на длинные ее ресницы да слушала тяжкое Рыжухино дыхание, рвавшее ей сердце.

День надвигался на нее со всей беспощадностью, как бы продлевая начавшийся так тяжело год, и давил, давил набухшими грязными тучами, которые несли снег с дождем, и даже лучику света не проскользнуть было – неоткуда. В избе было не прибрано, пахло угаром – дымила печь, и чистить было некому, дед хоть и рвался, да куда ему, инвалиду… мать слегла ровно после Крещения, упала на улице с инсультом. Пока бежали в медпункт, пока трясли ее, несчастную, по разбитой лесовозами дороге – время потеряли, хоть и живой осталась, да к чему, с горькою злобой думала Нина, к чему? Где брать денег на лекарства, да как обстирать, обиходить? Как тащить это все, когда у самой сил хватает только корову подоить да плеснуть борову пойла? Нина села, как припечатала – на стул, ткнула в кнопки, вмиг появилось на экране сияющее лицо дикторши, которая тараторила что-то, не имеющее никакого отношения к ее жизни. Нина давно вскипятила чаю, отметив, что газ на исходе, а новый брать уже не на что, потому как живут они теперь на две пенсии, а Нину погнали из магазина, как только она стала отпрашиваться ходить за матерью. Муж Нины, Пашка Спиридонов, мука всей ее жизни, помер еще в том году, опившись паленой водки, и Нинка, не скрывая облегчения, не выла в голос на поминках, а тихо сидела, привалившись спиной к теплому печному боку, радуясь наступившему покою. В тот же год осенью пацанов, Кольку и Борьку, пришлось сдавать в интернат, потому как Воршиловскую деревенскую школу закрыли за малой комплектностью. Теперь на выходные привозил их школьный автобус, но они становились совсем чужими Нине, она не понимала, чего они хотят, куда пойдут? К работе они были не способны, только и пялились в дареные телефоны. Вспоминала Нина себя такой, хоть и пришлось ее детство на смерть совхоза, а все ж помнила общий труд, и праздники в клубе, и толоку с песнями, да клюкву, да грибы. Помнила очереди за хлебом, даже карточки помнила – на валенки. А голода не было, огород кормил. Мать с отцом тогда получили паи, аж по 8 гектар, да продали. Хватило на мотоцикл отцу, вот и всей радости. Нина все берегла до последнего, не продавала, а уж потом припугнули в 90-е, да и рада была – сменяла на телевизор да холодильник. Вот, с тех пор она и смотрела за чужой жизнью, отмечая малые перемены. Неожиданно один, сивый, щекастый, говорливый сменился тихим, невзрачным, со смазанным лицом, и тогда это показалось надеждой на другую жизнь, а жизнь все не наступала, хотя и пошли исправно пенсии, но такие малые, что заштопать дыры было нельзя, да и дорожало все – деньги и летели, не держась. Новый все время говорил, обращаясь к народу, а значит, и к ней, к Нине, но слова, взятые по отдельности – были ясны, а сказанные непрерывным потоком – неясны, и Нине казалось, что из года в год твердят ей одно и тоже, и наверное, где-то становилось легко и богато, а в Ворошилово становилось все страшнее и хуже. Каждый год слышалось только одно – «закрывают», и закрывали – и детский садик, и пекарню с её ржаным хлебом, корки которого отдавали керосином, и больницу, и маслозавод, и лесничество… на Нининых глазах уходила почва, пустели дома, и улица, по которой раньше не пройти было, чтобы не встать да не «погомонить», стала безлюдна и редкие псы брехали из-под косых изб. Зато ехали городские, строились, городили вокруг домов дорогущие заборы, которых хватило бы всей деревне крыши перекрыть. За что мне жизнь такая, – Нина давно болтала ложкой пустой кипяток, – ведь вот, по телевизору смот-

ришь – какая красота в городах, люди все чистенько одеты, сидят по ресторанам, живут в таких квартирах – просто музей, и на машинах дорогих – а по говору, наши, псковские либо тверские. Московские дачники по-другому говорят, чисто, да еще с гонором, вроде как им такое счастье привалило, особое! Выбились в люди-то… Нина вспомнила одноклассницу, негожую, тощую, с тусклыми волосёнками, плетёными в крысиную коску, большеротую Стешку Гаврилову, которую и на танцах в клубе никто не приглашал – а поди! Поди-ка! Какая стала! Чуть не самая раскрасавица России, куда наши, морды в солярке, глядели? В каждой передаче сидит, золотом сверкает, в кольцах, замуж за короля какого-то скоро пойдет. Как удалось? Порхнула-то птичкой, да стыд вспомнить – сбежала в четырнадцать лет, с дальнобойщиками, мать руки чуть на себя не наложила, а сейчас в Москве живет, при дочке, губы крашены, будто навоз сапогами и не месила. А она, Ниночка-красавица, коса до полу, глаза васильковые, певунья да хохотунья, на всех конкурсах в районе первая, да работница, да затейница – где ее жизнь поганая, где ее годы, что ей на остаток в ее сорок? Вдова, без работы, и ни до какой пенсии не дожить не прожить, Господи, не дай Бог мать с дедом помрут – на что жить, куда идти? Неужели тот, главный, гладкий, с такими заботливыми словами, неужели не знает, как бедуем? Ему, поди, все министры слова умные про правду говорят, вон – они – взоры орлиные, сами упитанные, как совхозный сторож с зерносклада, кто им скажет про Нинку, да про Вальку, да про Россию, куда как огромную, которая лежит сейчас, как Нинкина корова Рыжуха, не в силах подняться, в соломе, да в навозе.

Нинка плакала, под веселый бубнеж из телевизора, и пропустила, как застонала мать, пытаясь повернуться на продавленной кровати, и только кошка, тершаяся об ноги, заставила ее встать и продолжать жить в этом нескончаемом дне.

Дед Ефим Соломатин

Злыми ноябрьскими вечерами, когда редкая собака покинет будку, чтобы побрехать на прохожего, когда мокрый снег тает в небе, не долетая до земли, а дрова никак не хотят разгораться в печке, дед Ефим Соломатин принимается подшивать валенки. Деревенские бабки, напрочь отвергающие легкие заморские «сапоги-дутыши», уже с весны несут деду вяленую обувку, и тот, зная наверняка, чья нога в том валенке ходила, даже не ставит меток, как в обувной мастерской. Бабок в деревне всего девять, молодух трое, ребятня мелкая каждый год новые валенки требует, а двое мужиков, случайно зацепившихся в деревне, и вовсе городские, но по зиме обрезанные валенки носят по дому. Дед чуньки любит, потому, обрезая дачникам новые валенки, сердцем не серчает, ибо все в дело идет. По краешку обреза дед ладит тоненькую кожаную полоску, и, по подсказке внучки, подшивает под нее цветной треугольничек, выходит вроде фирменного знака. Голенища все в дело идут, как говорит Соломатин – «на баб не трачусь». Дед любит работать под музыку, да теперь радио нет, так и висит без толку пластмассовая коробочка на стене, зато в нее вделан календарь, а внизу, если подкрутить колесико, и день недели покажется. Для музыки приходится налаживать телевизор. Внучка написала деду инструкцию, в которую он пялится бестолково, жмёт на кнопки пульта, а пультов аж два, и наконец, появляется какая-то негожая бесстыжая девка, и дед хихикает, что вот, сраму-то не стыдятся, и щёлкает туда, где серьёзные люди водят смычками и барабанят по пианино, как в клубе. Соломатин любит гармошку, да где ж её взять? Установив фон, дед снимает со стола скатерть, гонит наглого кота Тишку, застилает стол красивыми журнальными листами, потому как газеты теперь удовольствие дорогое. Поверх одеяла кладет голенища, парит их утюжком через сырую тряпицу, и уж потом непременно принимает рюмочку. Сразу яснеет глаз, и дело идет быстро. Нарезав на каждый валенок подошв, дед рассовывает их, чтобы не потерялись, а потом достает заветный сундучок, еще отцовский, с дратвой, шилами да сапожными иглами. Наперсток старый, мятый, верный, удобный к пальцу, служит деду давно, и бережет его Соломатин, вроде, как талисман. Валенок садится на железную сапожную лапу, работа идёт, музыка играет, а дед, глядя на валенки, смекает, как баба живет, да чем болеет. Вот, бабы-Валины валенки, скошены вовнутрь, аж понизу голенище истерлось, так бабе за 80, ноги кривые, сама вся скрюченная, а, поди, корову еще держит, надо бабе и пятку и бочинку задаром подшить, уважить. А вот Нюркины, она все на пятку давит, уж и ругался с ней Соломатин, подшивать некуда, дыра на дыре! А эти, легонькие, баб Машины, так бабка и ничто не весит, чистая пушинка, он ей валеночки не войлоком даже, а кожей подшивает, ровно на зиму и хватает. Так и сидит дед, и разговаривает с валенками, как с бабками, и вспоминает молодость свою, когда на деревенских улицах мигали веселые желтые огоньки, а народ не сидел по домам, а ходил в гости на «вечёрки», а бабы собирались на «супредки», и жужжали прялки в ловких руках, и пахло овечьей шерстью, кипрейным чаем и пирогами. В клубе готовились встречать Ноябрьские, репетировали концерт да вешали красные звезды над сценой, а по дворам визжали, предчувствуя неминуемую гибель, толстые розовые свиньи. Дед вздыхает, трёт переносицу, натертую очками, и, налив полный стакан водки, пьет ее маленькими глотками и смотрит в окно, за которым снег уже падает белыми хлопьями.

Ольга Францевна

Ольга Францевна Бриш-Бернандер проснулась от запаха свежести. Ее подвижный ум учительницы русского языка и словесности моментально вызвал к жизни водопад. Водопад был Райхенбахским, ибо другой на ум не пришел. Заранее посочувствовав доктору Ватсону, терявшему по частям друга Шерлока Холмса, она улыбнулась и продолжала улыбаться, пока не поняла, что водопад ее личный, а с насоса сорвало шланг. Путаясь в полах ночной сорочки, Ольга Францевна побежала в чулан, громко шлепая большими не по возрасту ступнями. Так и есть – вода низвергалась и свежесть ощущалась везде. Савёлов Пашка – подлец, содравший с нее две учительские зарплаты и одну пенсию, не закрутил хомуты. Ольга Францевна, задрав сорочку под мышки, плюхнулась в лужу и, щурясь от ужаса, выдернула вилку из розетки. Насос булькнул, шланг качнуло в сторону, как дрессированную заклинателем змею, и все стихло. Теперь предстояло жить без воды, так как Пашка запил. Ольга Францевна никогда не выходила из себя. Не в том смысле, что она, подобно герою Джека Лондона Дэррелу Стэндингу покидала душою тело и отправлялась путешествовать, а просто – спокойна была, как навек умолкшая совхозная водонапорная башня. В деревню Ковердяево занесло ее родителей – выселили их из Ленинграда в войну, как немцев, хотя они и были кольскими норвежцами, людьми, готовыми ко всему в гостеприимной России. Давно уж опочили они и упокоились на местном кладбище, а вот Ольга Францевна нашла себя в просторах литературы и русского языка, ибо, как известно, сами русские свой язык знают хуже, чему ярким примером был Дитмар Эльяшевич Розенталь. Окончив областной пединститут, Ольга Францевна купила себе костюм-джерси, белую блузку, пластиковую камею и на том остановилась. Собрав волосы в вечный пучок, принялась она вбивать в головы юных ковердяевцев азы русского языка и буки русской же литературы. И все шло, как и предусмотрено, и жирные алые пятерки и стеснительные лебяжьи двойки плыли по страницам дневников, как грянули девяностые и все кончилось. Школу заколотили. Ехать было некуда, а читать можно было везде. Так и присохла Ольга Францевна к косоватой своей избе, начала рассматривать тело и душу в единстве, питаться корешками растений, закалять тело погружением в воды местной речки, а дух и так был закален учительской зарплатой и ценами на дрова. Вознеся мысленно хвалы невидимому и неизвестному Высшему Разуму, она выпила два стакана воды, пожевала имбирь, очистила язык от налета и, радуясь беспрестанно тому, что день наступил, пошла ставить брагу. Аюрведа штука невредная, размышляла она сама в себе, но брожение сахаров с последующей перегонкой дает жизнь новой субстанции. А субстанция приносит деньги. А на деньги можно купить дрова, орехи, и навоз на огород. Потому, с тоской глядя на медленно уходящую в подпол воду, Ольга Францевна пошла за водой на колодец, где, свесясь через край, наблюдала жизнь лягушек, нарушающих покой зеркального водяного квадрата. Жизнь шла, и серебряные прямоугольнички дрожжей на столе издавали кисловатый запах, а тощий кот Ганеша, обессиливший от желания получить хоть горсточку «Вискаса», спал, подрагивая хвостом, у мышиной норы. Ольга Францевна поставила ведро на стол, схватилась за самую ближнюю к ней книгу и увлеклась «Хитопадешей» в переводе Кудрявского, и уж дрожжи оплыли от солнечного тепла и ушел в ночь голодный Ганеша, а Ольга Францевна так и читала «Добрые советы», применимые, впрочем, скорее к Индии, чем к деревне Ковердяево…

x x x

Снег сошел быстро, позднее весеннее тепло апреля переменилось на жару, и стало сухо, и растения, едва пустившие корешки, поникли от ночного заморозка и безводного дня. Уже запылила берёза, набрала, будто в горсть, свои гроздья сирень, а неподалёку от клёнов, неправ-

доподобно ярко зазеленели кленовые парашютики. Избежав придорожного пала, тихо пробивала трава прошлогоднюю ссохшуюся отаву, бежала по стеблям невидимая глазу насекомая жизнь, и пупырчатая жаба щурилась, глядя в белесое небо, и поглубже зарывалась в гниющую прошлогоднюю листву.

Ночью на птичий двор зашел ёжик, и, поводя носиком, смешным, как у Милляра, игравшего в кино чёрта, ел, почавкивая, кашу, вываленную на старую сковороду хозяйкой. Соловьи, прилетевшие рано, обживали ракитник у болота, рассаживались, перепархивая, пробовали голоса – полоскали горлышки, готовясь завоевывать сердца невзрачных с виду подруг. Уже кружили над пустыми полями ястреба-тетеревятники, замирая, паря, высматривали замершую от ужаса мышь, и, рассекая беззвучно воздух, падали на нее.

И вдруг, при ярком еще солнце, стало холодно, и северный, яростный ветер погнал, завивая в бурунчики, сухой воздух, и упало со стоном старое дуплистое дерево, вспугнув дятла, и в тишине, простоявшей всего несколько секунд, раздались раскаты грома и высверкнула молния. Пошел дождь, вначале теплый, живой, а к вечеру – пронзительно стылый, нудный и такой нужный этой сухой, истосковавшейся по влаге земле.

Герка Вертушкин, как Дед Мороз

Герка Вертушкин, вертлявый мужичонка лет сорока пяти, которые прочитывались, как все шестьдесят при ярком свете, ладил, зажав в тисках, какую-то железную фигульку для одному ему ведомых целей. На рембазе не осталось давно никого, но Герка любил покой, кисловатый запах металлической стружки, а тавот и вовсе казался ему лучше всяких Тройных одеколонов. Гремела крышка на чайнике, поставленном на буржуйку, безгодно дрых сивый кобель Кешка, за окнами сгущалась тьма. Председатель ввалился в цех, впустив облако снега:

– На казенном оборудовании ладишь?

– Да я чё?

– Ну, ладь… я чё? – передразнил председатель.

– Ну?

– Короче, давай, эта… короче, надо! – председатель сам испугался гулкого эха, пущенного его голосом по цеху.

– Я твой козел чинить не буду, – Герка замахал руками, – и ни, ни проси, денех не давай. Все! Там рамы нету. К чему варить, думай, не?

– Да, хер с ним, с козлом. Вот – и председатель аккуратно положил на верстак мешок, из которого в прорехи выглядывало красное и белое.

– Убил кого? – пошутил Герка и отложил напильник.

– Могу, – согласился председатель и достал чекушку. Водка замерзла и чекушка заиндевела, – давай.

Когда выпили, председатель загрустил и сказал:

– Герка, ты детей любишь?

– Ну их на хрен, – честно сказал Герка, сознавая, что чекушки будет мало, – по мне бы их ваще б не было. А есть. Выходит диалемма такая.

– Диалеммы они все такие. – Согласился председатель, – женишься, говорит – только сыночка. Потом глянь – сесть в избе негде, не то, что лечь.

– Николаич, – Герка потер щеку и стал похож на серого тигра, – а ты к чему? Нащот детей? Кому сделать?

– Да не, – председатель потряс себя за мочку уха, – наделали порядком. Вот – тут короче, шуба, борода и валенки. Будешь Дед Мороз.

– Я? – изумился Герка и икнул, – Купреянов в том годе ж был?

– От него дети стали заикаться, – грозно сказал председатель.

– А от меня знаешь че будут? Пысаться!

– И ничего, – на улице ж бегать будем. Снегуркой я буду.

– Ты в уме, какая ты на хрен Снегурка? Ты ж толстый! И нос у тебя, как репа! И лысый ты! Я не согласен! Давай Ленку, как Купреянову, ему с Ленкой дали морозить, они потом еще в клубе доморaживали!

– Ленка рожает в районе. Есть еще Зойка Степанчева, но она сильно хрОмая. И баба Митрохина, но она плохо стоит, если долго. И пьет, как я. Давай, Герка. Такая сейчас жизнь…

Около здания колхозного клуба высилась ель, аккуратно украшенная понизу шарами. Герка Вертушкин, в зеленых заколенниках для рыбалки, в алом кафтане на четыре размера больше самого Герки, с бородой, подвязанной под нос, чтобы не падала, махал суковатой палкой, обмотанной белыми и красными бинтами, и громко орал – РАС-ТВА-ТРИ!!! РАС-ТВА-ТРИ! ГАРИ-ЁЛКА МАТЬ ТВОЮ!!! Председатель, волоча по затоптанному снегу голубые полы Снегуркиной юбки, поправлял кокошник, пришпиленный английской булавкой к ушанке и пел В-ЛЕСУ-РОДИЛАСЬ-ЕЛАЧКА густым басом. Дети, прыгавшие зайчиками, мушкетерами, снежинками и Карабасами-Барабасами, ели конфеты с мандаринами, стреляли из хлопушек,

поджигали бенгальские огни и все старались поджечь елку, пока не пришла зав клубом тетя Нина и не позвала всех на чай. К самовару.

– А че, Нинку нельзя было Снегуркой, – ворчал продрогший Герка, – она и то на бабу больше похожа, чем ты!

– Нельзя, – говорил председатель, замерзшими руками срывая пробку с Шампанского, – она ж за клуб материально ответственная… а запалили бы?

И Герка кивнул, и выпил благодарно, и пошел в клуб – дремать на первом ряду плюшевых кресел. А что? Дети, они все равно в Деда Мороза верят. По-любому…

Герка Вертушкин и наука химия

Герка Вертушкин сидел у окна. Он остался последним в деревне, у кого не было стеклопакетов. Ну, эту химию на хрен, – говорил Герка, жалея денег на пакеты, – опять же жизненный смысл уходит в пространство?! На зиму рамы вставил, по весне снял. Обозначение календаря. С перепоя глаза открыл – всегда поймешь, в какой половине года. Если между рамами вата с игрушками – то зима. А либо лето, а ты еще не о том думал. Или вот? Пластмассы сломались, хрен, иди, покупай новую. Ее ж не приваришь? А то! Деревянную взял, обстругал-подточил, да хоша и гвоздем набей! Живи наново. Опять жена. Какую как грится, взял, вернул другую. Жена подлежит износу, к им запчасти дорогие. Тёщу, которая шуршала между печкой и стеной, Герка пока не обсуждал. Но зудело, горело комариным укусом в груди… или вот теща! – Герка повысил голос и шуршанье сникло, – теща она не в Китае сделана, поди. Тёща при СеСе-СеРе сработана. Такая модель. Как Жигули копейка. Всю жисть можно ездить и кирпичи еще возить. Но у ей бензин еще А-66, а щас такого нет. Потому засор, а фильтров нет, и движок глохнет. Надо бы тещу… на газ перевести? Или на дизель? Не, заводиться зимой плохо будет… тёща вышла из-за печки слегка присыпанная пеплом, – дровы я буду носить? Герка посмотрел в окно, – дык че? Греемся вместе? Я принесу, мне не в стыд. А вот печку чистить не буду! А я буду? – удивилась теща. Люпка буит, – Герка приоткрыл дверцу, – че она туды политилену натолкла? Все спеклось. А она шпиёнка. Следы жгла. Теперь все. Печь разбирать … – Тёща ахнула. – А либо так обойдется? Так нет, – Герка сунул руку и пошуровал в топке, – во! ой ну во! Эта… мама… давай-ка бересты там оформи… тёща, ворча, впрыгнула в валенки. Герка, убедившись, что хвоста нет, вытащил из топки пластиковую бутылку. Отвернул крышечку, нюхнул. Глаза его сузились от счастья, а уши прижались к голове, как у собаки Дружка. Самогонка. Она. Двое суток поиска. И вот те подарок счастья к новому году! Как не поплавилась? И как он её вчера учудил в печку-то? Герка аккуратно обтер бутылку, умастил её в рукаве, придерживая ладонью, и уж хотел бежать, как приперлась теща с берестой. Прочистил, сынок, – тёща использовала метод дрессуры «кнут-пряник-кнут», – ну и умничка. Щас растопим, буим Люпку ждать. А то я с утра все торкаю туда щепу-то, а она все назад дымом, я уж и думаю, гореть-то горит, а че чадить-то? Оно воно… Тут Герка похолодел. Две бутылки-то было. ДВЕ! Скрипнув зубами, бросил на ходу – по дровы! – и бубнил еще на ходу, – блин, записки писать надо, куда ложУ, записки! Во, в прошлом годе поросенок, сука, съел мою поллитру и помер, а я-то думаю? От че помер? Самогонка? От пластмассы всё. Потому как – химия…

Герка Вертушкин на своих поминках

Герка Вертушкин, который считал, что для «выпить повод не нужен, а сто шестьдесят шесть граммов свое горло найдут» лежал в жарко натопленной избе и готовился помереть. Вчерашние проводы старого года отпечатались в нем трезво и грубо – в цеху они с мужиками скинули железный хлам с верстака, Илюхин постелил свежую «Сельскую новь», Машкины Борька и Петька ловко открыли банки с килькой, покатав их по цементному полу, а Герка, подпрыгивая, как пугливый заяц, четыре раз сбегал в дощатый сортир, где хранилась от бабьего глаза батарея бутылок. Ну, – пробасил Виктор Викторович Куров, потерев об усы распиленную ножовкой луковицу, – как говорится! Герка помнит, как тукнулись, прикрытые ладонями стаканы – «камушком», как упало донышко от Илюхинского стакана и все заржали, сочувствуя, а дальше пошли вспышки, похожие на свет ближних фар, почему-то вспомнилось, как он, Герка, доставал кильку из пустой бутылки, а килька, примерзнув, так и висела, глупо помаргивая тусклыми глазками и томатные капли падали на «Сельскую новь». Потом была ёлка, но совсем чуть-чуть, потому как Герка с Борькей Машкиным хотели перевесить игрушки повыше, для чего уронили ёлку на снег. Всплыло лицо чьей-то бабы, рот ее был полон крика, а глаза равномерно подсвечены фиолетовым. Шла лошадь без телеги, а Виктор Викторович, стоя внутри телеги, пел про то, как «из-за пары разодранных кос с оборванцем подрался матрос». Дальше была пропасть. Провал. Затмение. Злые черти на тонких волосатых ножках, гнутых, как коровьи рога, раскачивали веревку, опачканную в навозе и пытались заарканить Герку. Все, – сказал себе Герка, – это я помер, стало быть. Но тут в кошмар вошла тёща. Тёща вообще могла войти куда угодно. Фигурой тёща была, как пирамида, поставленная на два огромных шара, и Герка каждый раз удивлялся, как это она проходит в дверь? И понимал – что боком. Тёща все подкидывала дрова в печку, видно, затеяла печь пироги, а Герке, который уже увидел чертей, казалось, что здесь и есть тот самый ад. Герка пошевелил ногой. Ничего не произошло. Рукой – тоже самое. Приказ был дан, но тело не отвечало. А тёща все поддавала жару и поддавала. Сейчас жарить меня будет, понял Герка. Она-то и есть самый главный у них чёрт. Тёща обогнула печь и склонилась над Геркой. Лицо ее странно уменьшилось, приближаясь, и в лицо Герке дохнуло керосином. Помираешь? – радостно сказало лицо, – ирод! Чтоб тебе ввек чекушки не видать! Куда Люпку дел? Герка попытался подумать над тем, кто такая Люпка, но не смог и заплакал. Убил, ирод, – тёща высморкалась, – как теперь без Люпки-т? Герка шевельнул ногой – а Люпка хто? Нога уперлась в горячий печной бок. Пианица чертоф! Люпка жена твоя моя дочь мать твоих детей! – и тёща вильнула в угол, где стоял мучной ларь. Мама, – жалобно проблеял Герка, – вы б меня похоронили б по-людски, не? С орхестром. Тёща заинтересовалась и высунулась из-за другого угла, – денех не пожалею! Сама закопаю! Да куда вам надрываться, – пустил слезу Герка, – Машкины уж как нить… вы им, токо, мама, наперед не давайте, а то присыпют, как овцу какую… Учи ученого, – тёща радостно расправила плечи, – тада тулуп скидай, и от авансу что оставши – мне. Потому как еще грузовик нанимать, опять поминки. Кого звать-то? – сама себя спросила тёща и стала загибать толстые пальцы, – ну, мы с Люпкой, сестра моя, сватья, Люпкина крёстная, значит, потом родня с Вологды. Не, а шурьяка забыла? – Герка уже колупал ногой печной кирпич, – я без шуряка не согласный! Рожу его поганую видеть не желаю, – тёща сына терпеть не могла, и всячески укорачивала его присутствие в родном доме. Выходит, меньше тридцати не выйдет, – тёща пошла, прогибая половицы, к кухонному столу, долго шуршала газетами и счетами за свет, пока нашла двухкопеечную тетрадку. Во, – она пододвинула табурет и начала писать столбцом. Опять документы выправлять. Машину в район. Автобусом нельзя? – Герка съехидничал, – ищо такси найми, на? Тёща гнула свое. Уложим, в чем есть, не тратиться ж. Опять родня твоя ничего не даст. Твои вообще, с Омельков пусть не ходють и сидят дома. Они на свадьбу сала старого дали да кислой

капусты. А самогонку свою сами пусть пьют, хуже как воды. Это да, – поддакнул Герка, у которого при слове «самогонка» открылся какой-то клапан, – дрянь у них вино. И пусть сидят. Чо уж. Им какое горе? Да, мам? Ну, – тёща оглядела зеленого в оконном сумраке Герку. – Говно у тебя родня, вот, прости. Двадцать лет терпела, но как ты помер, так уж все равно. Герка загрустил. Клапаны открывались, входил свежий воздух, выходило похмелье, но насчет Люпки сигналов не было. На, касатик, – теща поднесла Герке рыжую, в белый горох кружку, – выпей, чо уж. Напоследки-то. Прям жалко тебя. Но уж такое дело, Бог дал, Бог взял. Тёща, поддерживая лысую от чужих подушек на затылке Геркину голову, ловко влила в него самогон. Герка затих. Помер, – должно, – тёща перекрестилась на карту района, прикнопленную в Красном углу, – надоть кого звать вынести. С жары-то. Тут стукнула входная дверь, задробило топотом в сенях, слышно было, как голиком обметывают валенки. В дверь всунулась румяная Любка. Мам, – Машкины сказали, что Герка потонул. Они грят, пока ментов звать не будут, потому как никто в прорубь не полезет, опять же холодно. Я вот думаю, кого звать на поминки т будем? У меня уже список готов, – сказала теща. Герка, порозовевший от самогона и жалости к себе, вышел из-за печки, царапая штукатурку ногтями. Тута я … – сказал он горько. Тьфу, – отозвалась Любка, – нипочем счастья в жизни нету… а кого ж Машкины в прорубь-то? Герка пожал плечами. Этого он не помнил…

x x x

Вечер июля, лимонный закат над дальним лесом, солнце уже село, но тяжело дышит разогретая земля, остывая, приходя в себя постепенно. Я иду тропинкой мимо брошенных изб, и с печалью вижу, как каждый день появляется все новая примета распада – где-то упал забор, и сорняк поглотил его, заплел вьюнком и диким хмелем, а между реек штакетника тянутся ввысь жадные лапищи борщевика, и скоро он вымахает – почти до крыши, и выстрелит злыми сорными семенами, и пойдет и дальше, и дальше – некому остановить его. В старых избах выпадают стекла из окон, и в комнаты, где прежде жили, любили, болели, радовались – скоро зайдет осенний дождь, а потом сменится снегом, и пропадут, сгнивая, полы, и мышь будет точить обои, съедая мучной клейстер. Ласточки не вьют гнезд в брошенных избах – они летят туда, где человек, и даже коты не пугают их. А мы все идем, Лева уже идет еле-еле, с трудом, а Фунт забегает на заросшие огороды, и нюхает воздух, будто желая отыскать следы человеческого тепла. Горько пахнет полынью, хрустит под ногой высохшая в это лето трава, и сосновый, смолистый дух идет от разогретого за день лесочка, и Фунт приносит мне сосновую шишку, а мы все идем и идем – и только тяжелые лесовозы, проминая дорогу, идут и идут, и пыль, поднятая ними, не ложится, а так стоит в воздухе.

Ульяна

Ульяна, ворочалась который час, расправляя ставшими вдруг, в одно лето, чужими, узловатыми пальцами, комковатый матрас, утирала лоб цветной тряпицей, вставала пить воду, черпая из ведра, и вновь ложилась, и вновь сила невиданной доселе боли поднимала ее, и она покусывала угол подушки и все плакала, жалея себя. Жизнь ее, сызмальства шедшая в жесточайшем ритме крестьянского бытия, не знала поворотов, не знала праздности, и усталость была привычкой, неотъемлемой, как смена времени года. Мать с отцом держали хозяйство, вкалывали, злобясь, на колхоз, отбиравший весь труд до последнего, и мать, отбивавшая дробь на клубной сцене, голосила обидные частушки про трудодни, не боясь уже ничего – дед, отец её, был расстрелян, как кулак – а какой он кулак был, причитала каждый раз, глотнув вина, мать на Радоницу – двенадцать детей было, какой кулак? Мамка моя померла родами, – голосила мать Ульяны, – батька что того зерна спас, чтобы нас выкормить… Ульяна мать свою помнила как бы уже старухой, сухой, сгорбленной так, что, казалось, шла она, кланяясь в землю – всем. Ульяну замуж силком не гнали, вышла за Пашку с соседней деревни, малец был, как малец, тихий, послушный, силищи непомерной – телегу за задок подымал из непролазной грязи, в кузне работал – Ульяна все бегала к нему, замирала от восторга, когда он у самой норовистой кобылы чистил копыто, да насаживал новую подкову. Потом отчего-то запил, и все пил и пил, и бил Ульяну, и гонял по избе детей, да так, что Ульяна и зимой, босая, убегала к соседям – прятаться. Сгорел Пашка быстро, последние месяцы все лежал, схудавший, все держал Ульяну за руку, прощения просил, а уж на последней неделе, ровно перед Пасхой, вдруг как просветлел лицом и сказал – попа мне позови! А где ж священника взять? Бегала она пока, спрашивала – может, кто в городе знает? – Пашка и помер.

Ульяна осталась одна, и потянулась тягота ее жизни, однообразный круг, и она брела по нему, как лошадь на мельнице, таща постромки и не пытаясь вырваться или сделать шаг в сторону. Весна встречала её пустыми амбарами, да объеденным за зиму одонком, да отелом, и платила она самогонкой, нагнанной за зиму, совала ветеринару, совала подругам с фермы, чтобы подменили, и волокла себя дальше, до первой травы, когда выгоняли скот на выпас, и дальше, когда уже начинался огород, и она торкала непослушными пальцами росточки, и сама падала в грядку, от недосыпа, пригретая солнцем. Крутилось колесо, от утренней дойки до выгона коровы, от фермы до дневной дойки, а вечером полив, да Мишка и Витька со своими двойками, да опять доить-поить, да сено косить, и ведь кроликов держала, птицу – все на продажу, себе – так, чашку молока плеснула, хлебом заела. И шел сенокос, и ладно, если жара, и сама Ульяна исходила потом, разъедавшим раскусанные слепнями ноги, но хоть сено-то было – вот и роздых был, наметав телегу, лечь поверх, руки раскинуть, да в небо глядеть, пока тряско шла лошадь, сама одуревшая от ежедневного труда. Хуже было в дожди, когда гнило на поле все скошенное, и с чем было идти в зиму? Лето, короткое, смахивал, смаргивал дождь, и шла осень, с её вечной распутицей, с сапогами, вязнувшими в глине да в навозе, с картошкой, которую собирали, идя вслед за той же лошадью, и сырым запахом земли. Только и радости было – на Сергия, по октябрю, как рубили капусту сечкой, в корыте, собирались с бабами, гомонили весело, да под винцо – а и потом, зимою, хошь – не хошь, да передохнуть было время – чесаную шерсть пряли, плели носки на продажу, с цветными полосами, а себе – простые, серые, крапчатые. Ульяна не знала и не видела чужой, другой жизни, представляла, что где-то, как в клубном кино, есть красивые люди в дорогой, нездешней одежде, и нет иных у них забот, кроме как кататься в метро да кушать по ресторанам. И разговоры у них были умные, и любовь была – такая красивая. Сыновья после армии деревню бросили, как скидывают ставший тесным пиджак, но к матери наезжали, все корили, что не бережет себя, а сами охотно совали по карманам деньги, собранные Ульяной с продажи молока, да яиц. В город

ехать она, Ульяна, не хотела, стесняясь себя, своей неуклюжести, морщин и общей неприглядности.

Вот и сейчас, охая, растирая грудь, встала она, определив по себе, что уже пять часов, а, значит, пора гнать Нюську в поле, и пошла, пошла, поддерживая стены собою, и обещая непременно сегодня дойти до больнички, и корову сдать и зажить спокойной, дачной жизнью, как те счастливые городские, что вечно гомонят на соседнем участке, пьют вино и жарят мясо – ни к чему заколотое кем-то еще до Ноябрьских…

Дед Гришка и Чапай

Дед Гришка Баландин, по прозвищу «Америка», вот уж битые два часа бродит по деревне, ведя в поводу верного коня Чапая. Конь дряхлых лет, тощий, с ребрами – ободьями – «одр», как говорят бабки, но еще вполне рабочий. Конь косит и часто смаргивает, будто в глаза попала мошка. Глаза у Чапая с хитринкой, как утверждает Америка, а на деле – выцветшие, цвета сенной трухи и ресницы рыжеватые, длинные, как «у девки». Дед Гришка тормозит у каждого плетня, потому как за плетнями – бабы, бодро снующие по огороду. Выдалось октябрём редкое по нашим краям бабье лето, вот бабы и торкают что под зиму, да обирают по низкому рябиннику ягоды, тронутые заморозком, выламывают старую усохшую малину, жгут картофельную тину, подвяленную солнцем. Гришка, распахнув богатую мехом китайскую куртчонку, дареную городским дачником, валится на подернутый лишайником ветхий штакетник:

– Пятровна-а-а? – баба рада разогнуться и спешит к забору.

– Чаво?

– А ничаво! – Америка лезет за сигаретной пачкой со страшным словом «инсульт», закуривает, – чаво не надоть поделать, не?

– Гриша! – Петровна произносит «Гриша», как Элина Быстрицкая в «Тихом Доне», с придыханием – «Хриша», и складывает опачканные землей руки крестом на груди, – Гришенька, а пройти картошку? С поземцем, а? На другой год, что на весну буит?

– Что надо, то и буит, – Гришка лезет в карман, достает тетрадку, заломленную пополам, распрямляет, пишет простым карандашом – " Петр. позём» – Скоко телех возить?

– А хорошо бы поболее, а, Гришенька? А и под яблони, не?

– Мне хошь в избу вези, я говно не ем, – Гриша подписывает цифру, в которой можно угадать и «5», и «9», и стоит, почесывая подбородок, – ну намек нет? Либо?

– Ой, Гришенька! – Петровна подхватывается и начинает метаться, как курица – от бани до сарая. Самогон она гнала вчера, об этом знает вся деревня, и теперь она боится запалиться, как говорят бабки. – Гриша?! А те либо торговой, не?

– Не серди меня, – Гриша устал ждать, и хлопает вялых мух на Чапае. Чапай щурится, и тянет шею к зеленой еще траве, – ты ж знаешь! Я казенную не уважаю!

Петровна бежит к сараю, чтобы обойти его по заду, и выйти к бане незамеченной. Гришка отворачивается, подмигивает Чапаю – Худ бай Америка-е-е-е… – и ждёт. Петровна появляется вовсе с другой стороны и сует Гришке бутылку – Гриша, хорошее вино, я на расчёт еще на рябине настою, не?

– Лишнее, – Гришка отворачивает пробку, делает пару глотков, закусывает листиком, – жди. Будет тебе, Петровна, как говорица, Уралкалий в огород! – и идет к бабе Саше, последней бабке на деревне, которая держит корову, дающую молоко и навоз. Гришке потеплело внутри, и песня про «Гуд-бай, Америку» льется из его груди вольно, пугая мелкую пичугу. Чапай плетется следом, раздосадованный, что так быстро сговорились на работу и мечтает об одном, что какая либо жалостливая баба вынесет ему ведро с хлебными корками, размоченными в забеленной молоком воде… Солнце скатывается к обеду, мычит бабы-Сашина Мартуся, требуя дойки, а бабы поспешают по домам – к картошке, щам да телевизору, пугающему каждый день народ страшными вестями о чуме, разлившейся нефти и о курсе доллара, который бабы и в глаза у нас – не видали.

Федятка Хроменков

Федятка Хроменков уже второй час нарезал круги вокруг избы. Тёща заложила дверь и держала оборону. Тёщина дочь, Федяткина жена Танюшка, уехавшая в район сдавать бухгалтерский отчёт, наказала мамаше Федятку блюсти, но где уж там! Все тёщины нычки Федятка давно разведал, потому он с мужиками выпил и банку самогонки, и торговую водку, и еще обреудил мешок пшеницы и обменял на спирт. По этой причине ходу домой не было. Тёща была домовитая, как мышь. Привычка жить впроголодь воспитала в ней активное накопительство, потому изба напоминала провиантский склад. Тёща тащила домой всё, от мыла до крупы, и забивала каждую свободную полку. Федятка даже сварил ей железный ларь для хранения конкретной гречки, потому как мышь тоже разделяла стремление тёщи к изобилию и подтачивала запасы. Каждый день тёща, переминаясь с ноги на ногу, торчала в очереди в сельпо, высматривая ячку, геркулес, рис и пшено. По килошечке, по чутельки, – приговаривала она, укладывая аккуратные пачки в ларь, – а война? Не дай Бог! – тёща крестилась на пустой Красный угол, – пересидим! А другие, они, пусть чего хошь и делают, а у нас всё есть! Нам на бабашку мучицы всегда будет довольно! Хуже всего было по концу лета. Тут уж тёща заходилась от восторга, так как лес давал грибы задарма, землянику, бруснику, чернику и клюкву – тоже задарма, а огород, взрыхленный, прополотый и политый трудовым потом, все родил несчетно помидоры, огурцы, горох, редиску, морковку, лук, и даже синий экзотический баклажан и пунцовый перец. С утра кипели котлы, и тёща, вооруженная машинкой, закатывала банки. Полулитровые в ход не шли, только трехлитровые баллоны. Татьяна привычно осаживала мать – мамаша, вы как на батальон набуробили-то, куда столько? А скиснет? Нипочем, – отвечала тёща, и ее цветастый платок, завязанный кудёром, промокал от пота, – нипочем! Поросю отдам! Тёща забивала погреб, сработанный еще ее отцом, и, взяв у Таньки фломастер, выводила на жестяных крышках таинственные знаки, вроде как срок годности. В погребе можно было жить. Спать. Есть. Керосин в канистре, лампа керосиновая, спички, укутанные в полиэтиленовый мешок. Стеариновые свечи в трехлитровой банке. Даже противогаз, выменянный на спирт у школьного военрука. Погреб запирался на огромный амбарный замок, ключ от которого тёща носила на необъятной груди и снимала только при походе в баню. Федятка давно сделал с ключа слепок и ходил в погреб, как к себе домой, благо тёща учёт банкам не вела. Самогонку тёща хранила отдельно, в хлеву. Левая от входа половица поднималась легко, и там, в теплой ямке, и стояли баллоны, закупоренные с особым тщанием и даже залитые поверх сургучом, смененным на почте на тот же спирт. Пока Федятка бродил вокруг дома, тёща сидела, как на иголках – а вдруг? Вдруг разгадал подлый зять? Вдруг разнюхал? Что дороже, принцип, или 27 литров самогона? И тёща, накинув вытертый тулуп, осторожно выглянула в дверь. Федятка спал на ступеньке, подрагивая от вечернего холодка, и рыжий кот Жулик, уютно расположившийся на Федяткиной спине, разделывал небольшую мышь. Тёща прошмыгнула в хлев, попрыгала на половице, шикнула на завизжавшего поросенка, и довольная, пошла вразвалочку домой. Попихав чуней зятя, скомандовала громко – рота, подъем! – и пошла в избу, смотреть сериал. Про ментов.

x x x

Как к лицу деревне майский дождь! Сухая песчаная почва, давшая приют одуванчикам, сныти, да бесчисленному конскому щавелю, не родит ничего, отрадного глазу – только к июню зажжёт огонёчки клейкая смолка, да ромашка расцветет на неделю, зато люпин будет буйствовать до августа, тянуть змеевидные шеи, и разогнет свои перья папоротник орляк – похожий сейчас на головки скрипок. Дождь сбивает цветы черёмухи, отчего запах её становится

еще приторнее, щедро поит сирень, и та в ответ хвастается будущими лиловыми и белыми гроздьями, цветёт всякая кустарниковая мелюзга – белым-белым, нежным – тронь – опадёт тут же… В траве – дикие тюльпаны, мелкие, желтые бокалы на упругих ножках, и расцветающие нарциссы. На садовый стол падают кленовые соцветья, и дождь смывает березовую пыльцу со скамейки. Пахнет преддверием Рая – свежестью, ожиданием будущего лета, с его теплом, купанием и первыми, созревшими в тепличке огурчиками…

Сергей Беклемишев

Сергей Беклемишев дом в деревне не покупал – получил, так сказать, в наследство. Батя сам только после пенсии в родовое гнездо вернулся, после смерти жены, Сережкиной матери. Тосковал так сильно, что в городе и жить не мог, а тут, вроде бы и народец какой-никакой, а все под бочком, да и деревенская жизнь, что называется, и мертвого подымет – то столбы расшатались, то ветром рубероид на крыше задрало, то в печных оборотах кирпич покрошился. Только, говорил Серегин батя – встал, а уж и ложиться. Это вы, мол, городские, в носу ковырять да на витрины пялиться. А мы тут! Мы землю держим, понимаешь. Серега не возражал – что толку батьке напоминать, как он сам после Хрущова драпанул в Москву, на Шинный завод. И ничего, земля выдержала. Вот там, на шинном, батя легкие и подсадил, начал дохать, да еще курево, будь оно трижды неладно. Мать-то все билась, все по больницам его, а вот ведь – сама раньше надорвалась, хоть ушла, не мучаясь. Остались две сестры, погодки, Рая и Тамара, одна в Челябинске, вторая в Саратове. За военными. А, тоже судьбы – не приведи Господь. То разводы, то измены… Серега и сам женился по молодой дури, Ирка у него красивая была баба, аж с Улан-Удэ. Такая, буряточка. Характер, как у степной кобылицы. Продержались, пока сынок Ванька в школу не пошел, да и разошлись. Потом уж Серега, а он к тому времени в начальники пошел, по строительному делу – менял баб, был грех. На стройке женского полу – малина со сливками. И малярши, и крановщицы, и такие, и сякие, и вдовые, и молодые. Да что это за любовь была? Так, в вагончике, на скорую руку. Ластились бабы, намекали насчет замуж, в банках рассольник да котлеты возили, водочки подливали – а не сжилось ни с кем. Квартирка у Беклемишева образовалась хорошая, при деньгах был – выкупил вторую комнату, да так руки не дошли ремонт сделать. А тут – батя. Возьми, да помри. Аккурат на Пасху, решил в сараюшке выгородку для поросенка сделать, наладился к столбу дверку навесить, а столб-то гнилой, да вся крыша съехала – снег еще лежал, и придавило. Пока хватились, пока то, пока се… так и отошел. Беклемишева разыскали по адресу, записанному батей на обоях у телефона,

Серега приехал, всплакнул, похороны-поминки организовал – все, как положено. На работе неделю взял, думал, в районе найму кого, насчет продать, да так – вещички, какие раздать, какие пожечь. А вот, сидит вторую неделю, и каждый день себе говорит – завтра еду, – и остается. Сосед все ходит, так дедок, хитрован, но мыслит резонно. Зачем, тебе, говорит, Серега, в эти джунгли из бетона назад ехать? Баб и тут валом, и воздух чище, опять – глянь, рыбалка, глянь те – охота. Дом хорош, батя подновил, опять и опять – баня. Да и речушка – вон, семь шагов. Серега взвешивал так на так, и выходило, что дом разве что на лето годится, а летом он уже привык на заграничные курорты катать, не сказать, чтобы очень ему по сердцу было деньги транжирить, но обхождение, бары, да яркие бермуды, да длинноногие барышни…

Колебался Серега, катал хлебные шарики по цветастой, яркой клеенке, купленной батей к Новому году, все морщился, все говорил сам с собой, убеждал, возражал… опять и скотина? Куда ему тот боров? Куда овцы, кролики? Куры шастают… этого всего Сергей не любил, да под нож пустить – пара часов. И кошек Серега не любил, а батя их развел – не сосчитать, то с одного угла вылезет, то ночью аж на лицо ляжет, тьфу… а к кошкам и собака – старый пес, никуда не годный, морда сивая, клыки сточены, скажи – на что в Москве такая красота? Шерсть клоками. Не, как тут не ворочай, продать надо, отцовское раздать – вон, курток одних с Турции привезено сколько, пусть сосед радуется. Решился Серега, обошел еще разок дом, баньку стопил на дорогу, попарился – к тому приучен был сызмальства, сел, опять стакан налил, помянуть – девятый день, как никак, а вдруг понял, что до кладбища не дошел, стыдно стало, и глянул на батькино фото, прислоненное к стакану, запечатанному куском ржаного хлеба, и заплакал, не стыдясь, как плакал пацаном, утыкаясь в отцовскую рубаху, и вдруг, скороговоркой, задыхаясь от слез и какой-то неясной вины, стал рассказывать отцу всю свою

жизнь, которая прошла в работе, да в пьянке, да на чужих простынях, и все неладное и смутное, все, мучившее его своей неопределенностью, вдруг вышло из него, и стало тихо на душе. Бать, ты прости, а? Серега отодвинул стакан, помотал головой, вышел на крыльцо в старой батиной куртке, закурил, прислушиваясь в жалобной заячьей песне в перелеске, собачьему перебреху по деревне, втянул в себя глубоко запах земли, оттаявшей за день, и, погладив рукой любовно оструганные батей перила, вернулся в дом, и в первый раз со дня приезда не поперся в сапогах в избу, а поставил их в сенцах, нашарил батины войлочные чуньки, а в избе застелил постель свежим бельем, распахнул урчащий холодильник, нашел банку кислого молока, вылил в миску – эй, коты! Сел, глядя, как они выходят, жадно и пугливо лакают молоко, хлопнул себя по лбу, опять полез в холодильник, и вышел на двор с кольцом Полтавской – эй, как ты там? Шарик? Тузик? Иди – и засвистел, как в детстве.

Баба Зоя

Баба Зоя последние полчаса уж и не смотрела на экран телевизора, в котором мелькали какие-то суматошные то ли парни, то ли девки, беззвучно разевая рты. Баба тёрла колено, распухшее после вчерашнего падения у колодца, и мысленно костерила дачницу, задумавшую настелить досок на топкое место, по которому бежал ручей. Вот тя леший раздери, – причитала баба Зоя, – сама небось в городе кран открыла, потекла те радость! А тут на те … – колено ныло, и баба думала о том, что если она обезножит вовсе, то кто будет доить Пальму, а не будут доить, сгорит молоко и Пальма сдохнет. А сдохнет Пальма, не будет телка, а не будет телка, где денег взять? Чтоб эта дачница на её, бабину, районную пенсию жила, а то приедет, тряпок надает, а куды те тряпки? То для фиф каких, а бабе нужны порты с начесом, и чуни, и куртку надо легкую импортную, как у соседки, чтобы в дождь не мокнуть и в холод не мерзнуть. Баба огладила колено и принялась обматывать его свернутой в рулон тряпицей. Колено горело от барсучьего сала, и бабе это нравилось – значит, живое, колено-то! Держась за стены, баба Зоя доковыляла до сеней, пошарив, стащила с гвоздя МПСовский кителек, шагнула на двор. Дожди, зарядившие еще в середине сентября, превратили двор в непролазное месиво, а у хлева образовалась бурая вонючая лужа. Навоз вывозить было некому. Петух, завидев бабу Зою, гортанным криком собрал кур и, кося в бабину сторону яростным глазом, завел гарем в сарай. У-у-у, ирод! – баба показала петуху кулак. Петух был вредный, драчливый и трус. К тому ж он был «чижолай», как говорила баба, и ломал курам ноги. Петух, предчувствуя скорую кончину, обозначал превосходство перед бабой из последних сил. Дверь в хлев была подперта вилами. Баба уж с августа не гонялась с Пальмой, и корова тосковала в душном хлеве, переступала с ноги на ногу, позвякивала цепью, от которой чесалась засиженная мухами шея. Ну, Пальмуша, – заговорила баба ласково, – ну, дочушка, обтерпись малешко, чичас кого наймем хлев почистить, соломки постелим, крысков потравим, потерпи, дочушка моя… Корова вслушивалась в бабин голос, сочувствовала, вымя давала легко, и баба Зоя, умостив немалые свои телеса на крошечной скамеечке-доечке, уже мазала соски вазелином, обтирая лишнее о коровий бок. Ну, ты кормилица моя, ну богатырка моя, дай кто коровам заведат здоровья, – баба пальцем выловила из подойника шальную муху, – щас дачник приедет, денех нам с тобой даст. А мы хлебушка тебе, винца мне, а, доча? И баба, прихрамывая, дошла до избы, тяжко пересчитала ступени, и в кухне, сняв с печной дверцы чистую марлечку, процедила молоко. Продолжая оглаживать колено, взяла неловкими пальцами надрывавшуюся звоном коробочку телефона и привычно заголосила, – ты Нинка, мамку бросивши! А мамке ненять какие сутки! А и упаду, кто подымет! А када тебе на мать было дело-то? Подолом трясти по городу тебе да… что послала? Скоко? А не знаю. А скоко? Это мало как, Нин… а я печатаю? Я тебе Нин всю жисть… тебе да Ваське… тут что-то хлопнуло на дворе, заголосил Дружок в будке, и баба замедоточила в трубку – ой, ну, Нинушка, ну уважила т мамку т… проходите, проходите, Роман Сергеич, а жду… а дочечка вот заботу проявляет, ага, – и, чмокнув трубку, баба Шура разворачивается к дачнику, – Ой, Роман Сергеич… колено распухши… упаду кто подымет… и булькает каша в чугунке, и кошка точит когти о коврик, и жалуется баба Зоя, и сечет дождь за окном…

x x x

Сегодняшнее солнце пригревает уже всерьез, сугробы будто опускают плечи, оседают, обнажая потерянный собакой алый мяч и расколотый чугунок. На проталинах земля разрыта курами, на дорожках снег рыхлый, ноздреватый. На крыльце лежит пес. Он спит, уложив лобастую голову на вытянутые лапы. Солнце согревает и его, и снится ему жаркий город, улица, полная машин, и мячик, скачущий между ними. Пёс вздрагивает во сне, быстро-быстро пере-

бирает лапами, скулит, ощутив ещё и ещё раз мучительную боль от удара. Сколько лет прошло, а ушибленный бок всё ноет, особенно, если погода сворачивает на тепло. Пёс просыпается, подбирает под себя заднюю лапу, будто укрывая собой, боль утихает, и становится тепло и спокойно. Рядом с ним сидит кот, полуприкрыв обведенные белым глаза и подставив солнцу узкую мордочку. Кот впитывает запахи весны, чует мышиные тропы, метки соседских котов, и сладко потягивается, предчувствуя ночную драку. Кот молод, жизнь его полна доверчивой радости и силы.

Капает с крыши. Забилась у стекла проснувшаяся муха, ворона обломила сухую ветку, а с озера, тяжко проваливая снег, идет рыбак. В ведерке бьется рыбья мелюзга, вперемешку с ледяным крошевом.

Борис Аркадьевич и уроки деревенской жизни

– Что? Что ты будешь делать в деревне? – кричала жена Бориса Аркадьевича, хлопая хилыми дверками ИКЕЙского гардероба, – ты видел деревню? ГДЕ ты ее видел? Ты всю жизнь провел в комфорте!

– Галочка, умоляю, – Борис Аркадьевич виновато смотрел на прямую спину супруги, – я решил. Это мой выбор!

Деревня встретила Бориса Аркадьевича ёлками, мигающими разноцветными гирляндами, белым дымком из труб и расписанием на магазине – когда привозят хлеб, а когда – газ. Дни, по счастью, не совпадали. Избу – пятистенку уступил ему приятель на зиму, с просьбой кормить приходящую кошку Феньку, гонять мышей и «вообще следить». Борис Аркадьевич – теоретик, как и всякий российский интеллигент, живописал себе деревню в уме как нечто среднее между рассказами Распутина, которых не читал, и фильмом «Дело было в Пенькове», знакомым ему по детству. Прибыл Борис Аркадьевич аккурат под Новый год, потому был ошеломлен количеством иномарок на улицах деревни. Тракторов, лошадей и грузовиков не было вовсе. Деревенские не носили тулупов. Не ходили в валенках. Дедов не было совсем. Не скрипели журавли, доставая воду из колодцев, и не поднимался теплый пар над коровниками. Замеченные Борисом куры были одиноки и больше походили на вышитых крестиком по рушнику. Печь повергла доктора наук в ужас. Он долго изучал расположение таинственных заслонок и дверок, дважды чуть не угорел сам и трижды чуть не спалил избу. Купив обогревателей всех видов, рассовал их по комнатам и включил одновременно. Двое суток деревня жила без света. Доктор наук сидел в коконе из матраса и пил коньяк. На третий день в избу постучались. Пришел сосед.

– Здорово, – сказал он и протянул ладонь ковшиком, – ты тут, гляжу, беду терпишь?

– Вы садитесь, – засуетился Борис Аркадьевич, – я попробую чай изобразить.

– Зря ты это, – сосед Юрик укоризненно посмотрел на Бориса, – я к тебе шел, как к человеку. А ты – чай. Сейчас бабку пришлю. Она вина не пьет.

Пришла бабка, мелкая, гнутая и подвижная.

– Что вы, что вы! – причитал Борис Аркадьевич, – я сам! сам!

– Сяди, мялок, – бабка глянула на бороду Бориса Аркадьевича, – ты видать поп, лицо духовное, а потому просим прощения, как говорится, – бабка сновала взад-вперед, таскала дрова, обрывала ловко бересту, тут же наколола щепы, полезла, как фокусник, с газетой по всем печкиным дверцам, взметнулась даже на чердак, плюхнулась успокоенная, и уж через час блаженное тепло потекло по избе, вытесняя злой холод. Тут же пришли кошки.

– Какая из них Феня? – спросил Борис бабку.

– Чу! Все Феньки, – сказала бабка, – если молока дать, дак от котов продыха не будет.

Чаевничали у окна.

– Гляди, – бабка наставляла Бориса Аркадьевича, – вон, вишь? Качается? Это Зойкин Петька, он дрова колет, но дерет много, и сразу пропивает. Вона – девки пошли, обе шалопутные, Гулька и Юлька. Домой не пущай. Обреудят все и могут снасильничат. А как жа! – бабка налегала на мармелад. – Ежели по женской части, зови Темрюкову Зинку, она чистая и берет недорого. А – вот, учительша пошла. Учить будет, кого споймает. А вот Минька Чеботарев – не пущай его, он помирать хочет, про избам ходит, примеряется, где. А потом хозяину накладно выйдет. Стопочку плесни – но через калиточку … – и лилась, лилась, бабкина речь, и Борис Аркадьевич, понимая, что прожил в России всю жизнь, не зная и не понимая ее, вдруг заплакал от умиления и налил себе и бабке – по полстакана виски.

– Кто тебе эту самогонку-т гонить? Дорогая, поди? – изумилась, прочихавшись, бабка, – дурят вас, городских…

Никита Паншин

Никите Паншину и поговорить не с кем. Только три дома жилых осталось в Бармино, да и то, сознаться, какие собеседники из пьющего соседа Васьки да глухой бабки Егоровой, у которой из родни одна коза Люська? Никита хочет разговора обстоятельного, да такого, чтобы вынести для себя что ценное, да еще, чтобы собеседник его, Никиту, убедил в какой-то своей правоте! Чтобы, значит, столкновение умов произошло! Для этой цели хорошо подходит дачник, обкатанный, как речной голыш, Москвой. Но уж откуда взяться ноябрем дачнику? Приедет, кто крепкий, на новогодние дни, будет пить да бросать в снег красивые бутылки, курить сигареты в страшных, пугающих пачках да спрашивать Паншина насчет охоты, да баб. Никаких годных баб в деревне не сыскать, ушли бабы, ушли девки, за ними и мужики потянулись. Не слыхать в деревне гармошки да бабьего визгу, не курятся дымки над банями, не мнет снег копытом лошаденка, – пусто. Никита долго гремит в сенях ведрами, твердо намереваясь идти на колодец, но, вдохнув на дворе морозного воздуха, отстегивает от цепи трехцветного, рыже-черно-белого, кобеля Витяшу и идёт с ним прочь от деревни, туда, где наезжена лесовозами дорога, ведущая в сосновый бор. Бор уцелел, неизвестно почему, и сейчас стоят сосны, прямые, стройные, и Никита гладит их рукой, и говорит с ними, и досадует, и сосны, тихо перешептываясь, одобряют сказанное Паншиным. Он говорит им о ничтожной пенсии, о том, что на северах сорвал себе здоровье, о том, что жена его бросила и настроила против него детей и не дает видеться с ними, о том, что тоска кругом беспросветная и нужно продлевать разрешение на ружье, а это значит, ехать в район. Ты ж понимаешь, – Паншин стоит под своей любимицей, в которую лет восемь назад ударила молния, отчего ствол ее расщепился и сросся, как диковинная лира, и жалуется ей, – это ж в поликлинику надо, за справкой. Ну? Это ж медкомиссия. Опять в район сколько денег надо? – и сосна сбрасывает шишки, как бы подтверждая Никитину правоту. Витяша, одуревший от свободы, нарезает круги, подталкивая хозяина к Бобровому болоту, где можно всласть полаять, и полакать сладковатой хвойной воды. Эх, да что ж ты неугомонный такой, – Паншин идет, приминая мох да лишайник, сетует, что вот уж и Михайлов день, а снега с гулькин нос, только по низине, и что зима стала не похожа на зиму, и грибов нынче было хоть плачь, как мало, и вдруг, поднявшись на горку, с которой дальний лес дает себя увидеть во всей горькой обнаженной красе, плачет от немого восторга, охватившего душу, и, отталкивая Витяшу, норовящего стащить с руки рукавицу, хватает ртом звенящий морозный воздух и вдруг кричит, да так, что вспархивает тетерка, – хорошо-то как, Господи! А потом, усовестившись неизвестно чего, быстрым шагом спускается к болоту, и смотрит на подрезанные бобрами осины, и гладит Витяшу, громко и бестолково брешущего на темную воду.

x x x

Бабье лето свернулось в одну ночь. Будто стояли бабы – липы, березки, рябины, – хороводом. Окружали их крепкие дубы, старцы с узловатыми пальцами, да стройные клены, равнодушные ко всему, кроме своей красоты. Даже листья свои – пятипалые, бросали клены на землю, будто визитные карточки.

Весь сентябрь летал по лесу осенний художник-визажист, держа на отлете палитру и кисточки. Вздымался с порывами ветра, подлетал к берёзе, ахал – вот, тут немного подсветлим? А тут прядочку пустим? Прэлэстно… – отлетал назад, делал круг, вздыхал – не то, не то… А береза шелестела – ну, красиво же… хорошо же? А тот – опять! Тут веточку отломит, там переплетет ветви меж собой, как косы. Дольше всего с рябиной возился. Как же! Тут и ягоды, такой простор для фантазии! Эти – рыжие, а те – уже багряные, кровавые. Оборвёт

ягод, рассыплет по траве, прикроет поверх листиками осины, зубчатыми, словно с выпиленными краешками – и, доволен! Так и летает целый день по лесу, по лугу, носит с собой и мешок разноцветной листвы – бросит в озеро – и качаются серебряные листики ивы – как рыбки, и тонут, намокнув… Вот, только елки стоят – как стояли! Зеленые, скучные! А он и их убирает листьями, накалывает на иголочки лимонные листья ясеня, оранжевые – клена, да еще пришпилит сбоку веточку бересклета – залюбуешься!

А ночью пришёл холод, высыпал из сумки-холодильника ледышки, припорошил траву инеем, и пошел мостить-схватывать дорожки, сморaживать павшую листву – готовить дороги Ноябрю-батюшке… Лети, малая и большая птица, спеши в теплые края, а к нам – поползни, клесты да снегири пусть жалуют, будем зиму встречать!

Маечка

– Я маленькая была, – Майю Николаевну, в её – не будем уточнять, какие, с небольшим хвостиком годы, все зовут «Маечкой», – в два кило родилась. Такая крошка. Меня бабулечка на ладошке держала, боялась уронить, да.

– Недоношенная, что ли? – гудит шмелем коротко остриженный сосед Викторыч, рассматривая этикетку на бутылке с вином.

– Нет, нормальная! – Маечка встряхивает кудряшками. Её миловидное личико будто и не тронуло время. Высокие скулы, общий очерк лица скорее мордовский, как у мокши. В наших краях финно-угорцев всегда жило много. Вот уж и распалось всё, а так – ещё можно признать – какого ты роду племени, – я просто такая слабенькая была. И меня все жалели, Маечкой звали.

– Так ты в мае родилась? – сосед выворачивает пробку из розового Шампанского.

– Почему в мае? В марте! – Маечке смешлива, но ей не свойственно лёгкое, порхающее чувство юмора. Она серьёзна, тщательно осмысливает каждый факт и фразу. Подловить её на чем-то смешном, вовлечь в игривую застольную беседу – трудновато. Она у нас чудесная, старожилица, если так можно сказать. Помнит все – от войны и дальше, и все родственные переплетения, вся ткань деревенской жизни лежит перед ней – как открытая книга. – Ой, девочки, а что в войну было… у нас тут партизаны были. И предатель был. Все знали, кто. А партизаны как соберутся в избе у тётки Паши, и он туда. А была у нас пара такая – Валентин и Олечка. Так он взял и убил Валю. Прям в избе. С испугу вроде. А Оля как плакала, и мамке говорит – пойду воевать за это. И пошла на фронт.

– А разве женщины были на фронте? – Викторович смотрит в окно, из которого раньше было видно озеро, а теперь виден высокий московский забор без единой щелки, – что там делать бабам-то?

– Ой! Ну как же! – горячится Маечка, – так и водители были! И связисты! И разведчицы были! И Олечка-то ехала на машине, а сверху снаряд упал. И никого не убило, только её. Вот как.

– Сказки все это, – сосед настроен скептически, – бабьи сплетни!

– Ну как же вы так! Я все помню! Вот дом стоял, и клуб, что сгорел. Так я на танцы туда бегала, а в доме Федоровых разуюсь, сапоги сыму, и дальше в туфельках. Чтобы не пачкать. И на гармошках все играли. И на балалайках.

– А пианино не было? – хмыкает сосед, желая подловить Маечку и развеселить собравшихся.

– Да куда же с пианино по деревне ходить? Вы придумаете… нет, идём, поём… у меня вот, гармошка есть, я ее скотчем заклеила. Сижу на крыльце, частушки пою…

– А спой?

– Не, не буду!

– Ну? Видать, и не знаешь ты частушек, байки нам травишь … – Викторович разливает сладкое, как компот, розовое Шампанское.

– Ну, такая была – «Самолет летит, крылья стерлися, мы не ждали вас, а вы припёрлися…» —

за столом общий грохот, утирают слёзы от смеха. Викторыч, невозмутимо:

– Так я не понял – самолет летит?

– Ну, да!

– А обо что крылья-то стерлись?

– Об воздух, – говорит Маечка. – Вы не думайте, это не про вас, что вы в гости пришли. Это рыбоохрана тут приехала, и я им спела…

Неспешна застольная беседа. Я слушаю, как пью живую воду – и жалею об одном, нет диктофона с собой.

Утопленница

– Михалыч, – начинающий дачник Димка Суворов обозначил собой дверной проем, – там чего-то бабка лежит?

– Чего-то где-то? – Михалыч читал «Календарь садовода», и дошел уже до марта, хотя в августе это было неактуально, – вид бабки? Какие вредители? Может, бабке подкормка нужна? Суперфосфат, скажем? Если полегла, подвяжем… если бледная, тогда нужно подумать!

– Михалыч, ну бабка же? – Суворов принюхался, – гонишь?

– Всегда, – ответил Михалыч и заложил календарь пакетиком с семенами физалиса опушенного, – отвлекаешь. Веди к бабке. У нас в деревне, если бабка лежит, либо уж совсем лежит, без подъему, либо сама вскочит. Никто бабками вплотную не занят.

– Надо ж … – загрустил Суворов, – у нас в Москве сразу, если старушка лежит, её в реанимацию, чтобы пробок не создавала…

– Вот! – Михалыч поднял указательный палец вертикально, – потому у вас бабок ненужных в Москве до хрена. Веди, Сусанин, в лес!

– Суворов?!

– Тогда в Альпы. – Михалыч с Суворовым вышли на двор. Золотился август, пичуги воровали семечки у подсолнухов, над куриным выгулом кружил тетеревятник, а куры ждали петуха, ушедшего к соседке.

– Благодать? – спросил себя Михалыч и сам себе ответил, – несомненная! Но сливы нынче будет мало!

– А как определил? – Суворов готовился стать садоводом на пенсии.

– На глаз. Видишь – дерево? На нем ни хрена нет. Дерево – слива. А вон – другое дерево. На нем есть. Это яблоня. Элементарно, Суворов! Где бабка-то?

– У магазина лежала, – Суворов простер руку вдаль, как Ленин у клуба. – На травке.

У магазина никого не было. Трава была примята, но ни одной бабки поблизости не наблюдалось.

– Надь? – спросил Михалыч у продавщицы, сажавшей мух на липучку, – тут, говорят бабка какая-то того? Слегла?

– Это московская была. Из синего дома. Мужик в трусах за пивом приехал, положил. Говорит, укачало. Московские бабки никуда против наших не годны.

– А потом? – не унимался Суворов, – сейчас-то где она?

– Должно, назад в Москву пошла? – Надежда почесала лоб под крахмальной шапочкой, – если не лежит?

Обескураженные мужики вышли на берег озера. На берегу был врыт столб с надписью «…ся запрещено». На столб, задрав ногу, печально писала собачка. На остатках скамейки стопкой лежала одежда.

– Утопла … – сказал Михалыч, – ой, блин. Теперь копай, документы выправляй, возют, возют, бабок своих, места им другого нет!

– Смотри! Плывет! – радостно закричал Суворов. И правда, над озерной гладью метались испуганные чайки, а легко различимая бабушка хорошим кролем шла к берегу.

– Наши так не могут, – сказал Михалыч. – Наши только топором, ежели что…

– Поэтому у вас и пенсия маленькая, – ляпнул Суворов ни к селу, ни к городу. – Бахнем?

– За бабку? Да с легкой совестью! – и они потрусили к избе Михалыча.

x x x

Одиночество безмолвное, полное, совершенное и прекрасное одиночество. Ты выходишь из дома, накинув на плечи куртку, берешь в руки фонарик и свистишь псу, который начинает кружить на одном месте, не веря собственному счастью, которое наступает всегда ровно в 22.45. И ты оставляешь свет на веранде – чтобы увидеть – куда возвращаться, и шагаешь, шагаешь по тропке, чувствуя, что ломаешь подошвой высохшую траву. Глаз выхватывает черный провал крыши на дедовом доме, засохшие пирамиды елей над болотом, скрытый в лесу сельский погост… Стонет выпь у берега, в тросте, жалобно, как будто царапают гвоздём корыто. Собаки не видно в темноте – кончились белые ночи. И вдруг на охристой песчаной ночной дороге ты видишь свою черную тень, увеличивающуюся в размерах – это вышла луна и светит тебе в затылок. Тут же зелеными габаритными огоньками сверкнут собачьи глаза, луна посеребрит кончики ушей – пес сидит в зарослях папоротника. Нога мягко уходит в песок, идти трудно, ты встаешь и просто смотришь в небо, не желая увидеть ничего – просто, чтобы лучше осознать – ты одна, и можно быть самой собой – перед этим небом, луной и озером.

Дакота

Дакота появился в Нельгино в конце восьмидесятых, когда народ еще только дернулся – в деревню, то ли кончать, то ли начинать – жить. Поселился на брошенном хуторе около излуки речки, почти над самым обрывом, где летом гнездятся стрижи, а зимой заметает так, что берега становятся вровень, да и зажил – сам по себе. Кто дал ему эту кличку, или сам он назвал себя так – и не упомнить. Роста он был среднего, кряжистый, крепкий, про года и не понять, то ли сорок, то ли все шестьдесят. Ходил всегда в одном и том же, застиранном х/б, наподобие армейского, только зимой надевал новехонький щегольский полушубок. Его сопровождали две собаки, лайки, черно-бело – одинаковые пятнами, и смиренно и гордо ждали Дакоту у магазина, когда он брал хлеб. Хлеб, и ничего более. Ради этого он шел пешком свои восемнадцать километров, раз в неделю, на любой погоде. Сначала пялились, судачили, чего не говорили за спиной, то ли каторжник беглый, то ли артист, то ли монах, да так и не вызнали ничего. Местные, кто охотой пробавлялся, пытались завязать с ним знакомство, но он, встречая их на крыльце, садился и курил. Молча. Отстали, приняли – мало ли, беда, какая у мужика случилась, это только от горя из мира уходят, с радостью в мир идут. Потом уж заметили, как приезжает к Дакоте джип, всегда ровно двадцать первого, любого месяца, и подсмотрели, как выпрыгивает из него то – ли женщина, то – ли девчонка – стриженая накоротко, но седая, привозит коробки какие-то, сгружает у крыльца, ночует всегда в машине, а утром исчезает – как не было. Дакота на охоту ходил, брал мало – только на еду, да еще шкуры выделывал, видать – для себя. Деревня все мельчала, уходили за лучшей долей в города мужики, тянулись за ними их дети да внуки, и вот уж Нельгино усохло до шести дворов. Тут уж бабки на поклон к Дакоте – помоги, мил человек, не поднять, не наколоть, дорогу не пробить – погибаем. Дакота приходил, все такой же молчаливый, делал нехитрое деревенское дело, деньги, что совали бабки, не брал – положит, поверх камушком придавит, да пойдет к себе на хутор, а собаки за ним, Боб и Феникс. Тут уж бабки между собой погомонили, упросили почтовую машину, что ходила между заброшенных деревень, возить изредка Дакоте молочка, да яичек. Он хмыкал, да брал. А в девяностые пошли по лесам люди недобрые, земля оказалась скупленной, как в американском кино, да не под доброе дело, не кукурузу сажать – а так, лес сводить, и заходили к Дакоте нешутейно – вали, мол, на чужой земельке стоишь, а он в первый раз будто, рот открыл – земля-то общая, мужики, не трогайте. Как-то из леса пришел, капканы проверял, смотрит, а хуторок его машинами окружен, ходят пацаны без лиц, одномордые, да бензином поливают домишко его. Он ружьецо поправил на плече, сел на бревно и смотрит. Молчит, главное. И что-то было в том молчании, не объяснить, а не поднялась рука ни у кого – спичку поднести. А все одно – подстрелили его в лесу, да так – трусом – в спину всадили. Охнул Дакота, да и упал в ржавую хвою. Хоронили бабки, наняли с города мужичков могилку выкопать, поплакали, помянули блинами с киселем, а тут и двадцать первое случилось. Вышла та женщина из машины, а нет дома. Только Боб и Феникс, лежат на берегу, ждут – вдруг на лодке Дакота приплывет. Взяла она их с собой, пнула ногой привезенные коробки, да и уехала. А куда? Кто ж знает? Страна-то большая, только спрятаться от себя – негде.

Танкист и моряк

Деревня Алабышево на войну всех мужиков своих отдала, да и кто спрашивал, хотели, не хотели? На кладбище, у разрушенной церкви полегли чужие солдатики, которых в местную больничку свозили. А назад вернулись всего двое, «Моряк» да «Танкист», оба Сашки, да оба однофамильцы, Михайловы. «Моряк» на флоте воевал, на торпедном катере, подбило-то его аккурат на берегу, когда швартовались в Мурманске. Операция «Зильберфукс», 1941, самая осень. Потом уж так, по тылам да по госпиталям мотался, на фронт-то Сашка-«Моряк» и не рвался особо. Пил он крепко, бывало, пенсию получит, тут же и приговорит, у магазина, угощал всех щедро, но потом требовал с ним вместе песню петь «раскинулось море широко», ну, а как фронтовика не уважить? Пели! Моряк женат был, как он сам говорил, на «чухне», то ли она финка была, то ли латышка, но баба была сухая, верткая да визгливая. Держали кроликов на продажу, так вот, вся деревня говорила, мол, «Моряк» какое слово волшебное знает, плодились они у него – страсть! Так «Моряк» и ходил по дворам, кланялся, чтобы травы покосить, а потом и брел, согнувшись, под тюком и орал во всю глотку «Боевые мы ребята на торпедных катерах». Дома его колотила жена-чухонка, и тогда «Моряк» шел к кроликам, и жаловался им, что его, фронтовика, моряка, обижает какая-то немецкая зараза. «Моряк» пил самогонку из горлышка, а чуткие кролики шевелили розовыми носами и чихали.

Второй дед, Сашка-«Танкист», был ростом невысок, как и положено для танка, кряжист, и суров. В своем танке дошел аж до Вены, где его и подбили свои, случайно. Горел, но выжил, так и остался на всю оставшуюся жизнь с обожжённым лицом, младенчески розовым, и безбровым. Поседел, говорили, он тогда же – обгорел, а волосы отрасли уже седые, даже сивые, желто-белые. Разное по «Танкиста» говорили, и не любили его в деревне, звали сивым чертом да лешим. «Танкист» пил в одиночку, а такое в деревне не прощают. Жил он на самом краю, там, где лес, подступив к деревне, встал, будто задумавшись. «Танкист» бобылем жил, скотины никакой держал, работал инженером в лесхозе, деньжищами ворочал большими, имел и мотоцикл и лодку-казанку с подвесным мотором, и жил так, словно напоказ. Бабы «Танкиста» любили, особенно солдатки, вдовые, и навещали его и тёмной ночкой, и так, не таясь – днем. Баб «Танкист» угощал сладким вином да пряниками, да, говорят, и на подарки не скупился, а жениться отказывал сразу – обрывая резко, чтобы и не повадно было. Трепали языками про прошлую жизнь «Танкиста», дескать, пришел с войны, да застукал жену свою с милиционером местным, да и не стал слушать ничего, а как был с вещевым мешком, так и ушел. Только пайку сгрузил на стол, и ушел. А сынок у них был, помер от непонятной болезни, сгорел в одно лето. Дружил «Танкист» только со своим котом одноглазым, черным, как сажа, пиратского вида. Кота звали Чомба, и был он свиреп, дрался до полусмерти с соседскими котами, и жил в дедовой избе, снисходя только до плошки с молоком. «Танкист» с Чомбой разговаривал, как с человеком, это бабки через забор слыхали, и даже на рыбалку кот ходил с «Танкистом», сидел на носу лодки, мяукал.

Бывало, встречались они, «Танкист» да «Моряк», на сенокосе, или картошку помогали друг дружке сажать, и говорили про обычное, что погоды нынче совсем никуда не годные, сено замочило, а вот, дальний лес на вырубке горит, а в магазин опять вино не завозят. Ни словечком про войну, даже в клуб не ходили кино смотреть, если про войну. Брехня, – так и говорили, что один, что другой.

Правда, было один раз, сцепились они крепко. «Моряк» выпил сильно, шел, песню пел, а «Танкист» на мотоцикле его хотел до дома подвезти, вроде как подшутил – ты, хоть и «Моряк», а все одно, что пехота, а мы, танкисты – всегда круче всех, «броня крепка, а танки наши быстры», а «Моряк» ему, да ты и не воевал, раз в море не был, а «Танкист» ему, да ты всего ничего, и год не отслужил. Ты пороху не нюхал! По морям – по волнам! А я! Я до Вены

дошел, да у меня орденов! «Моряк» – а покажи, если не брешешь? «Танкист» рассвирепел – да ты мне не веришь? Ты кто такой? Я вон, обгорел весь, на мне сразу и без планок орденских видать, какой я герой! «Моряк», а он в тельняшке так до смерти и ходил, тельняшку разорвал – на, гляди, мои ордена, «Танкист» смотрит, а там и места живого нет, шрамы, как жгуты витые да дыра, слева, где ребра. Заплакали оба, обнялись, расцеловались, и в первый да в последний раз и усидели бутылку на двоих.

Между собой фронтовики не дружили, орденами да медалями больше не мерялись, но уж, как положено, на День Победы шли на тихое сельское кладбище, где, не сговариваясь, усмехались каждый про себя, когда присланный из областного центра агитатор, встав под крашеную в серебряный цвет статую солдата, мял в руках листки с написанным текстом и молол, как давно заученное, про победу да великие потери. Деревенские хлопали, поглядывали на стариков-ветеранов, но все то, что они пережили, представлялось им далеким и скучным, вроде того черно-белого кино, которое крутят в клубе. А деды видели, как сейчас, искалеченных людей, глаза, обезумевшие от горя, черную обугленную землю, и – молчали.

Баба Стеша

Баба Стеша давно различала мир по запаху, не надеясь на глаза, которые стали обманывать её уже давно. С этим обманом Стеша, сначала ворча, боролась, донимала сестру, живущую в городе, и та присылала ей с шофером рейсового автобуса очки, купленные на рынке. Но, то ли очки показывали по-разному, как часы в Стешиной избе, то ли советских очков больше не было, но уж никак и сквозь самые дорогие, за триста рублей, не яснелось. Так, что крупное – печь, скажем, или кровать, те стояли на месте ровно и пристойно, а вот всякая мелочь, вроде чашек, ножниц да пузырьков с таблетками – все бежало врассыпную, все пряталось и пропадало. Свет теперь шел сквозь окна одинаковый, что утром, что вечером, а ярчайшая лампа, вкрученная в плафон, казалась белесым пятном. Фельдшер все уговаривала бабу Стешу отправиться в город на глазную операцию, но бабка, зажмуриваясь, представляла себе холодный и длинный нож, которым неприятный мужик в окропленном кровью халате будет резать ей глаза, служившие столько десятилетий верой и правдой, что мотала головой – не, доча! Это, поди и каких денег стоит! Мне на жизнь Бог глаз дал и хватит! Это мне знак, что уж пора матицу подымать, ложиться да внутрь себя глянуть. А там намешано порядочно! Еще была у бабы забота – кошка Белка, старая, вся в колтунах от бесконечной любви, но характера доброго и мышеловка знатная. Куда я как кошку-т дену? – спрашивала сама себя баба Стеша, это ведь такого ума кошка, что на измену лягеть и уйдет, а еще к кому пойдет неизвестно что будут за люди. Мир существовал зыбко, не дробясь, как прежде, на отдельные предметы, а как бы осияя каждый приглушенным радужным кругом. Это было красиво, но не полезно. Пролитое молоко, надеванные кое-как юбки, чуни с левой ноги, перекочевавшие на правую – все это баба Стеша выносила с гордостью. Но как-то пропала телеграмма от дочки, почтовый перевод от неё же, да еще выпала с печи головешка, чуть не спалившая избу, и баба Стеша решилась. Уж как сестра утешала её, горемычную, что никуда ее кошка не денется, потому как кошки не деваются никуда, и что избу заложат прочно, и замков навешают по всем дверям – Стеша плакала скупыми слезинками, и все трясла мелко головой, наперед горюя.

Города баба Стеша и не рассмотрела. Вёз её сестрин муж, зять, стало быть, и еще громкую музыку в машине включал, вроде как развлекая родню. У Стеши и уши заложило, и в носу спеклось от вони бензина да выхлопа, все у неё кружилось и плыло, и тоска брала за горло длинными и тонкими пальцами, похожими на щупальца водорослей в пруду. За деньги теперь любой каприз, – услышала баба Стеша голос в вышине, перекрестилась, подумала, как это, что и Господь теперь её прибрал без Причастия, и уснула. Очнулась живая, в палате, где всяких было разновозрастных старух да молодух напихано, и нащупала рукою, что левый глаз у нее – под повязкой. Чисто я как Кутузов фельдмаршал, подумала баба Стеша и снова уснула. От яркости зрения, полученного после операции, бабушка пришла в такой ужас, что все прикрывала ладошкою зрячий теперь глаз, и приоткрывала тихонько, отгибая по пальчику. Новый мир ей не понравился. Вся скудость больничного бытия, драный местами линолеум, скучные бабки, сусликами сидящие на кроватях в разношенных тапках – все это было куда как хуже радужных кругов. Но было уплачено, и уж на второй глаз баба Стеша решилась легко, особенно после беседы с батюшкой, которого она теперь разглядела во всем великолепии. Батюшка оказался вовсе не древним старцем, как пишут на иконах Пророков, а молодым даже мальчишкою, но с бородой. Он и благословил Стешу, и исповедал, и допустил к Причастию, и наказал молиться Лонгину сотнику да Божией Матери Казанской. После всех больничных мытарств зять привез Стешу назад, в деревню, и первой, кого обоими исцеленными теперь глазами увидала Стеша, была кошка, ждущая ее на крыльце. До чего же ты, Белка, колтухами-то обросла? сказала недовольно бабка и поспешила отмыкать замки – чтобы уж наверняка найти ножни и состричь Белкино безобразие…

х х х

Ныло вчера небо, будто мучимое зубною болью, и все куталось в серые, шерстяные облака, пушистые и пыльные, как старый платок, и крапало легкими слезками, не в силах напоить, а только – смочить землю. Озеро на закате было, как раскрытая раковина, перламутром играло, дробило серый небесный цвет, отражая то склонившиеся над водой листья трифоли, то сухую ветку, то промельк чаячьего крыла. В ночь не вышла луна, и было прохладно и темно, и только вскипевшие белым яблони были видны в саду. Утром, будто вырвали больной зуб, и вспыхнуло солнце, начавшее оглаживать все своими теплыми, золотыми лучиками. И тут же выпорхнули бабочки, желтые и белые, неяркие, но все равно – одушевляющие сад. Пролетели шмели, закричали в высоком небе ласточки, а яблони, изнемогающие от цветения, сбрасывают лепестки в бочку с дождевой водой да в траву, где еще кивают головки одуванчиков, яркие, как яичный желток. Старая, корявая яблоня цветет розовым, даже пунцовым, хотя давно нет на ней яблок, но все же и она старается дать радость – хотя бы и так… уходит, тает май, готовый уступить свое место июню, и душная сирень, распустившаяся вокруг брошенных изб, зовет проходящего мимо – придите, вспомните о тех, кто жил здесь до вас… и они были, и кто-то маленький, доверчивый и глупый, искал среди этих цветов свой, в пять лепестков.

Измена

– Мам, – Оксана сняла крышку и заглянула в пустой рукомойник, – а мне Вовка изменяет…

– С чего взяла? – Катерина Григорьевна мелко шинкует капусту на щи, – опять Светка разнесла? Так у ней не язык, а ботало коровье, я тебе сколько говорила, гони её в шею, сплетню такую! – Мать привычным жестом обтерла руки о подол юбки, – ей завидно, вот и хочет вас развести, а ты ей все выкладываешь, куда пошел, чего сказал! Ты её еще в кровать промеж вас уложи, чтобы уж ей наверняка знать!

– А с кем мне, кроме Светки, – Оксана льёт из ведра воду, – кто оставши в деревне? С тобой, что ли, в клуб ходить, скажешь, тоже…

– А хоть и со мной, – Катерина собирает половики – трясти, – мать те враг? Мать те жизнь дала, а у тебя токо Светка свет в окне! – Собрав половики, Катерина выносит их на двор, развешивает на провисших после дождя веревках и делает вид, что собирается их выбивать, а сама, подобрав юбку, неловко перелазит через редкий забор. Показав кулак зашедшемуся в лае дворовому псу, толкает дверь, крашеную в голубой цвет и, погремев для убедительности вёдрами, брошенными в беспорядке в сенях, заходит в залу. Дочкина подружка Светка, крашеная брюнетка с подведенными глазами, валяется на диване, лузгает семечки и пялится в экран телевизора. Катерина выдергивает провод, телевизор обиженно умолкает, а сама она выговаривает Светке:

– Кто тебя за язык тянет, а?

– А что – о – о – о? – Светка не меняет позы, щурится, – вы про что, тёть Кать?

– Сама знаш, про что!

– А если про то, что я знаю, так вся деревня знает еще когда! Вы чего спохватились-то? Зятёк ваш всех девок наших попортил, за соседних взялся, да еще с райцентра, думаю, прихватил, – Светка оттягивает лямки сарафана, – вы бы его навязали у дома, и то больше пользы было бы…

Катерина Григорьевна, подскочив к Светке, вцепляется ей в волосы и треплет, как в детстве, – еще слово скажешь, сучка, я про тя тоже знаю, где сказать, чего разнести, а у Оксанки моей мальцев двое и третий на подходе, только мявкни, утоплю! – Катерина утирает своим же подолом заревевшую от обиды Светку, и, погрозив ей напоследок кулаком, тихо закрывает дверь. Дома, забыв про половики, она подсаживается к прилегшей на кровать дочке, гладит её, подтыкает подушку, и бормочет успокаивающе – врёт все Светка твоя, врёт, глаза завидущие… такого зятя поискать, и добрый, и работящий, и смотри, сколько денег домой несет, и какой к мальцам добрый… спи, спи, доча… кто эту лахудру твою, Светку, замуж возьмёт? Никто… а ты гони её, гони, доча … – в наступившей тишине слышно, как подъезжает к дому машина, как ненавистный зять Витёк обивает сапоги от грязи, и Катерина, потрепав Оксану по плечу, встает ему навстречу – кормить обедом.

x x x

Изошел день снегом, будто мучился, мучился, и отплакал, отстрадался. Завалило всё чищенное за выходные дни, присыпало там, где подтаяло, и опять красота – всё бело, всё чисто. А день с утра солнцем подарил, да каким! Март, да нешуточно – припекло так, что проснулся дед, дремлющий после обеда, и заёрзала очнувшаяся муха по газете, укрывавшей его лицо, и деду показалось, что-то кто огромный и важный ходит по строчкам, указывая, что читать.

Небо высинело, да не блёкло, а яркой синью, аж зарозовели голые ветки берез, а вода из подтаявших шапок на крышах побежала ровнехонько, нанизываясь на гигантские сосульки.

К вечеру на темнеющем ситце неба показался невесомый полумесяц, тонкий, будто траченный небесной молью, а к ночи вдруг засияло, залило все лунным светом – с такой-то скибочки, с такой-то крохи! И вновь празднично, как в Рождественскую ночь, вновь тени фиолетовы, а на поле лежит, играет каменьями, дрожит восторгом – новое снежное покрывало. И студёно стало, и подернулась звёздами ледка водица в ведре, забытом у колодца, и заскулил соседский пес, чуя луну, запросился на волю – в ближнюю деревню, где уже с утра собрались, почуяв весну, его злейшие враги. Пискнула мышь, торопящаяся к хлеву за зерном, лениво потянулся кот, спящий на теплой лежанке, закукарекал спросонья петух, и заголосили, подхватили его клич соседские петухи, и разбудили бабу, решившую, что в курятник залезла лиса.

А потом тренькнула, обломившись, сосулька, раскатилась по насту, да и стихло всё.

Баня

Баню готовили с вечера пятницы. Если был черёд отца гоняться в поле с общим стадом, приходилось ждать до вечерней дойки. Пока мать доила, отец степенно ел щи, разминал вилкой ранний картофель, и непременно выпивал стакан водки, залпом. Покурив на крылечке, хлопал по спине мать, пробегавшую закладывать на ночь хлев, подтягивал штаны и шел носить воду. Семья была большой, дед с бабкой, мать с отцом, мы с братишкой, да старая тётка, воды носили много – в молочные бидоны, в чаны, и в котел, вмазанный в печь.

Наносив воды, отец садился с дедом гонять чаи, мама с бабкою, замученные за день скотиной и огородом, валились спать, и только мы возились на сенниках, брошенных на пол.

Ранним утром дед, выпустив корову в стадо, задав поросятам и курам, шёл растапливать печь. Присев на низкую скамейку, закладывал березовые поленца вперемешку с осинкой, поджигал берестяной локон и курил, щурясь на первый едкий дымок. Щелчком отправив окурок в печь, закрывал дверцу, принюхивался к воздуху в бане, поглядывал, не прогнила ли где половица, чисто ли выскоблены лавки, сметал голиком паутину, заглядывал под полки, проверял каменку – нет ли «грествы» от разрушенных камней. Закончив осмотр, выходил, привычно нагибаясь пониже, но все равно, попадал головой в низкую притолоку, и шёл на утренний двор, охая, потирая шишку. Над трубой появлялся сизоватый вначале дымок, обтекал крышу, стлался к земле – вставал туман.

Днём мама собирала в узлы нехитрое ношеное бельишко, замачивала в тазах на заднем дворе, бабушка строгала ножом коричневые куски вонючего хозяйственного мыла, размачивала стружки в плошке, а мы, дети, выдували огромные пузыри через ломкие соломины – пузыри плыли, радужные всполохи играли в них, а язык щипало…

Дед срезал в ближайшем перелеске веники, укладывая березовые ветки, мешая их с дубовыми и рябиновыми – горькими, дымными на вкус. Готовый веник обвязывали понизу бечевкой, а «хвост» подрубали – уголком, или скобочкой. Дед был человеком обстоятельным, а баню ценил особо – в войну спасала, и в самую тяжелую страдную пору, и в зиму, и в лето, и врачевала – все болезни… Настои травяные готовил сам, даже бабку не подпускал. Шёл на луг, на болото, перетирал меж сухих, непослушных уже пальцев травки, подносил к носу, пробовал на язык. Что-то отбрасывал, что-то добавлял, корешки откусывал ножнями – «порядок должон быть!» Томил траву в чугунке, в бане, отчего по парной плыл банный дух, в котором мешалась и мята, и хвоя, и ромашка, и таволга, и шиповник, и липа. В отдельном чугуне запаривал листья и колючки репья, добавлял к ним хмелевые шишки, да блеклую травку, растущую на пожарищах – остудник.

Перед баней мать с теткой мыли избу, а мужики убирали хлев и двор. Отец чистил коровник, поддевая на вилы грязную солому, выталкивал её в крохотное оконце. Дед, стоя на куче, принимал и бросал дальше. Под ногами копошились вечные куры, выклевывая зерно и червяков. Петух, с огромными шпорами на длинных желтых ногах, победно кукарекал, и бежал, шатко переваливаясь, с длинным червяком в клюве. Чистили лошадь, выведя из стойла, скребком, а гриву и хвост расчесывали и подстригали, для красоты. Лошадь фыркала, теплым лбом бодалась с дедом, который, хлопая ее по бокам, поддразнивал – застоялась, голубушка? Ничениче, скоро покос-сенокос, не ленись! Нат-ка, сахарку – и подавал сахар на ладони. Дымка сахар брала губами, мягкими, плюшевыми, а потом кланялась смешно, и скалила огромные желтые зубы. Дед развешивал упряжь для просушки под наветку, успевал и бороны осмотреть, и плуг, и косилку.

Двор мели чисто, в метлу, посыпали свежим песком, и сразу становилось нарядно и празднично. Перед порогом отец бросал охапку свежескошенной травы, и мы, жалея «цве-

тики», обходили её – сбоку. Мать, выбив половички, вешала их на плетень, и сразу становилось празднично. Дома пахло влажным деревом и подвядшей травой. Бабушка самовар ставила загодя, и к запаху чистоты примешивался дымок, горьковатый от шишек. Постельное было поменяно, а, на кроватях родителей, и деда с бабой почти до полу свисали белоснежные подзоры, вышитые еще прабабкой. На стол, по случаю наступающего воскресенья, стелили скатерть, цветную, с бахромой. Она тоже была накрахмалена и углы ее топорщились. Меняли к Праздникам и полотенца над кивотом, и чистили лампадку перед образами, снимая пальцами нагар с фитилька.

Дед сам проверял, как прогревается баня, подбрасывал дров, сливал крутой кипяток в отдельно стоящий бидон, обернутый яркой тряпкой, чтобы не пожглись, не обварились – поди, разбери, где что, когда такой пар!

Первыми в баню шли мужчины – дед с отцом и мой брат. Взяв аккуратно сложенное матерью исподнее, отец благодарил её, расцеловав в обе щёки. Дед бабку не хвалил, проявлял строгость. Меня отсылали в погреб, за квасом, и я шла, прижимая к себе глиняный кувшин, и боролась с искушением – отпить из него. Бабушка сама ставила мужичкам и давленую бруснику с мёдом, и калиновую воду, и махонькие маковые сушки – в предбанник, на полку.

В предбаннике раздевались, не спеша. Дед загодя поддавал на каменку, проветривал, еще поддавал. Он любил пар тяжелый, крутой, густой, пьянящий. Сняв белье, снимали и нательные кресты – иначе никак в парной не высидишь! От жара надевали колпаки, наподобие шляпных – а кто и голову тряпицей повязывал. Входили, перекрестясь, аж крякая, глотнув горячего и влажного парку. По первости сидели на нижнем полке, совсем у пола, ухали, дышали, сплевывали в ладонь – на пол не положено было, забирались повыше, тут уж и жар, тут не до болтовни. Дед на полках запрещал трепу давать да песни орать – не положено, да и все!

Окатившись ледяной водой, выходили в предбанник, пили квас, калиновую воду, грызли сушки. Переглянувшись, ныряли по второй! Тут уж в ход шли веники – веник клали на каменку, и поддавали с ковша травным отваром. Дед был мастером – парил и приезжих гостей, умел как-то особо разгонять пар, так, что и веником тела не касался, а человека всего обдавало волнами горячего воздуха. Отец парился попроще, больше для «баловства» – пританцовывая, бегал с веником, от которого шел такой ароматный пар, что хотелось замереть и дышать тихонько, за братцем. Эй, эй, – слышал братец голос отца, – малец! ты че, сомлевши? Дед, гля-ко, не угоревши? Дед хлопал братца по щекам, кивал отцу, тот выносил брата из бани, укладывал на траву, прыскал изо рта водой – живой… перебрал парку-то… попей, попей, ничаво, ничаво, пообвыкнешься… приговаривал отец, нежно гладя братца по макушке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.